Борьба Миров
№5-6
работе пионерской организ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) ОТ 21 АПРЕЛЯ 1932 г. (к 10-летию пионерорганиз

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“

ДВУХНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1932 ГОД

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — освещает на своих страницах все новейшие достижения научной мысли в свете марксистско-ленинской теории.

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — уделяет особое внимание успехам и достижениям советской науки в деле социалистического строительства СССР.

„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — ставит своей задачей быть пособием по самообразованию в области естествознания, техники, общественных наук, литературы и искусства.

Журнал выходит под общей редакцией профессора С. ТЫМЯНСКОГО.

В 1932 ГОДУ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТ:

24 книги журнала в многокрасочной обложке, богато иллюстрированные рисунками, фото-репродукциями и чертежами.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПЕРВАЯ СЕРИЯ — 24 книги „Научно-популярной библиотеки“.
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ — 12 книг „Природные богатства СССР“, 12 книг „Индустриально-технических таблиц“ и 12 плакатов по вопросам „Мироздания“.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

„Вестник знания“ — без прил.: 12 мес. — 6 р., 6 мес. — 3 р. 20 к., 3 мес. — 1 р. 70 к.
„Вестник знания“ — с приложением первой серии: 12 мес. — 10 руб., 6 мес. — 5 руб. 20 коп., 3 мес. — 2 р. 70 к.
„Вестник знания“ — с прил. третьей серии: 12 мес. — 19 р. 30 к., 6 мес. — 9 р. 75 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

по всему СССР во всех почтово-телеграфных отделениях, у сельских и городских письмоносцев, у организаторов подписки на фабриках и заводах и на транспорте.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, Ленинград, 2, Торговый пер., 3.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 г. на журнал

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

Боевой орган интернационального воспитания ленинского комсомола

Орган ИККИМ и ЦК ВЛКСМ

— Выходит два раза в месяц —

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

РАССКАЗЫВАЕТ
о борьбе революционной молодежи в странах капитала.

ОСВЕЩАЕТ
проблемы КИМ и его секций

ОРИЕНТИРУЕТ
комсомольца в основных вопросах международной политики.

ВЕДЕТ
борьбу за марксистско-ленинское воспитание мирового комсомола.

ПОКАЗЫВАЕТ
организации противника изнутри, разоблачает их тактику и работу.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ МОЛОДЕЖИ

НУЖЕН

каждому интернациональн. работнику,
каждому активисту-комсомольцу,
каждому вузовцу и рабфаковцу,
каждому вожатому пионеротряда,
каждому комсомольцу,
каждому ударнику-комсомольцу.

В журнале принимают участие работники ИККИМ, ЦК ВЛКСМ, комсомольские писатели и журналисты и интернациональный актив комсомола.

В каждом номере от 60 до 120 иллюстраций.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 мес. — 50 к., на 3 мес. — 1 р. 50 к., на 6 мес. — 3 р., на 12 мес. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почт. отделениях, письмоносцами и ячейковыми уполн. по печати.

Борьба Миров

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Ленинград, проспект 25 Октября, д. 3.

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ
1932 г.

ВЫХОДИТ
один раз в месяц

ИЗДАНИЕ
„КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ“

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Стр.

Оскар Граф
Бездомный — 4

Георгий Венус
Их маршрут: Дрезден — Ленинград — 8

Н. Вагнер
Сегодня 136 — 15

С. Безбородов
Черный день — 19

Н. Старов
Комбинат — 30

Игорь Равский
Честь фирмы — 39

Катаока Гэппей
Повесть о мирном существовании деревни Кйори — 46

Дм. Лебедев
Утро в Поло — 57

Одна шестая — пять шестых — 64

Ирина Бразуль
Харп — 70

Иностранный юмор — 82

С. Марвич
Акцион. о-во „Блау-Рейн“ — 86

Обложку делал
худ. Анат. ВАСИЛЬЕВ

10 лет

В 1922 ГОДУ БЫЛО 3 ТЫСЯЧИ ПИОНЕРОВ, В 1932 ГОДУ — 6 МИЛЛИОНОВ

ПИОНЕР — ВСЕМ ДЕТЯМ ПРИМЕР! ЭТОТ ЛОЗУНГ ПО-БОЕВОМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОВЕДЕН ПИОНЕРАМИ В УЧЕБЕ, В ФИЗКУЛЬТУРЕ, В БОРЬБЕ ЗА СОЗНАТЕЛЬНУЮ ПИОНЕРСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ, В БОРЬБЕ ЗА ПОЛИТЕХНИЧЕСКУЮ ШКОЛУ И КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. *(А. Бубнов.)*

Юные ленинцы! ЦК партии и комсомола налагают на вас большие обязанности. На пороге второго десятилетия вы должны лучше учиться и овладевать знаниями, укреплять сознательную дисциплину среди всех детей, быть примером для всех в социалистическом отношении к учебе, труду и общественной работе. Каждый из вас везде и всюду — в школе, в клубе, на улице, в лагерях — должен быть всем детям примером.

(Из приветствия ЦК ВЛКСМ к десятилетию пионердвижения).

Центральный комитет ВЛКСМ особо подчеркивает задачу укрепления деткомдвижения подготовленными, крепкими кадрами руководителей. Вожатый пионеров — почетная работа для комсомольца. Каждая ячейка комсомола должна дать лучшего комсомольца вожатым в пионерский отряд.

(Из приветствия ЦК ВЛКСМ к десятилетию пионердвижения)

Пионер! Добейся при каждом пионеротряде, пионердоме, клубе, лагере образцового крольчатника! Создай вокруг всех жилищ здоровые зеленые насаждения! Защищай, оберегай их!

Емельян Ярославский.

ВЫЕХАЛО В ЛАГЕРИ В 1922 ГОДУ — 0 ЧЕЛОВЕК, ВЫЕЗЖАЕТ В 1932 Г. ПО РСФСР — 1.000.000 ЧЕЛОВЕК

Дети трудящихся нашего социалистического отечества на протяжении всех лет его существования являлись и являются активнейшими участниками этого великого строительства, активнейшими борцами за дело строительства социализма.

П. Постышев.

Постановление ЦК ВКП (б) 21 апреля 1932 г. — это боевая программа улучшения работы среди детей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ГРОМАДНОЙ РАБОТЫ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ В СССР РЕЗКО СНИЖЕНА ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ. В 1913 ГОДУ В РОССИИ УМИРАЛО ДЕТЕЙ 244 НА ТЫСЯЧУ, УЖЕ В 1926 ГОДУ В СССР УМИРАЛО 187 НА ТЫСЯЧУ

В Китае 3 миллиона детей в возрасте от 5 до 14 лет заняты на тяжелой работе. 2 миллиона 800 тысяч детей в этом же возрасте работают в Соединенных Штатах. Ежедневно 50 тысяч берлинских детей направляются в школу с пустым желудком. Дети трудящихся обречены в капиталистических странах на изнурительный труд и нищету. Рабочие всех стран борются за лучшее будущее своих детей. Но и сами дети не остаются вне борьбы. На наших снимках изображены моменты революционной борьбы, которую ведут детские организации. На верхней фотографии—забастовочный пикет берлинских школьников. На нижней фотографии — собрание молодых забастовщиков на текстильной фабрике в Токио.

Бездомный

ОСКАР ГРАФ
Рисунки В. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Был трескучий мороз.

Стоявший на углу шуцман мрачно смотрел вслед двум подвыпившим парочкам и угрюмо ворчал.

При мысли о том, что эти люди идут домой, в свои теплые комнаты, и перед сном наверное еще выпьют горячего чая и закусят, он перестал ходить взад и вперед, время от времени согревая притопыванием свои замерзшие ноги. Теперь мороз еще мучительнее пронизывал все его тело.

Он сердито скрипнул зубами, еще глубже втянул голову в поднятый жесткий воротник шинели, с видимым напряжением согнул окоченевшие колени и опять зашагал.

Голоса запоздалых прохожих постепенно замирали. Снова стало тихо. Опустевший квартал казался вымершим. Мрачно возвышались тяжелые громады домов. Шел мягкий густой снег.

Угрюмый шуцман свернул на более широкую улицу. От ровной снежной пелены здесь казалось светлее и просторнее. Он с облегчением смотрел на это белое однообразие. К нему подходила точно, как палка, фигура. Казалось, у этого человека не было ни головы ни рук. Только ноги он механически выбрасывал вперед, точно заведенный автомат. Когда он был в пяти шагах, шуцман громко кашлянул и поднял свое сердитое лицо.

— Эй! — с озлоблением громко крикнул он подходящему и невольно подтянулся.

Фигура остановилась, как вкопанная, дрожа от холода.

— Документы есть? — спросил шуцман, делая шаг вперед и рассматривая человека.

Тот не двигался.

— Эй! — свирепо заревел шуцман и осветил незнакомца карманным фонарем. Все на нем было снова в безукоризненном полицейском порядке.

Стоявшая в светлом кругу фигура напоминала засохший, сучковатый, ободранный ствол дерева или обломок разрушенной колонны. Полицейский окинул ее быстрым взглядом.

— Ваши документы! Что, вы оглохли? — снова крикнул он, взбешенный остановкой на таком холоде, и быстро, точно догадываясь, прибавил:

— Или у вас нет их?

Незнакомец вынул наконец окоченевшую руку из глубокого кармана брюк и протянул ему грязные, промокшие документы.

„Карл Прувик, подручный жестяника" — прочитал шуцман на карточке инвалида. Дальше шло происхождение, место рождения, последнее место работы и дата. На первой половине были наклеены погашенные марки.

Шуцман сунул карточку под синий военный билет и раскрыл его.

„Пехотинец Прувик Карл — 14-й полк", стояло на первой странице. „Ранен у Люневилля (ранение правой руки), ранен у Тарнополя (ранение левого колена), ранен у Вердена (ранение левого плеча)",—было занесено в приложении, а на следующей странице упоминалось множество боев и сражений.

Лицо шуцмана постепенно теряло свою неподвижную суровость и слегка высунулось из воротника.

— Хм! Тоже участник войны?.. Бездомный, а? — сказал он со спокойным самодовольством и протянул документы неподвижно стоявшему человеку. Тот слегка покачнулся вперед.

— Собачий холод! Подождите, еще все устроится! — воскликнул шуцман приветливее и предупредительно сунул незнакомцу документы в карман пиджака. — Ведь еще не так поздно. В городе еще все открыто. Вы наверняка найдете ночлег... Так, — сказал он, услышав, как поблизости часы пробили десять. На мгновение он прислушался, кивнул и удалился торопливой походкой. Еще издали он заметил смену.

Карл Прувик запахнулся плотнее и снова зашагал.

Снег шел и шел.

Через некоторое время стало немного светлее. Мимо проходили люди. Яркие фонари автомобилей глазели через широкую площадь. Над огромным порталом светились большие буквы „Театр".

Привлеченный светом, Карл Прувик невольно ускорил шаги и направился прямо к театральному подъезду. В это время из широких, сверкающих дверей хлынула толпа зрителей. Он моментально очутился в самой гуще толпы и протискивался вперед. Теплая ароматная волна неслась ему навстречу. Мелькнули сильно накрашенные лица. Яркий свет бросил странно смелые блики на сверкающие, шелестящие дамские туалеты. Слышались беспорядочные, перебивающие друг друга, суетливые голоса. Шелест шелка, смех, сирены авто, неуловимая игра нежных интонаций создавали оглушительный шум.

— Прямо блестяще! — воскликнул кто-то.

— Как трогательно играет Гольман!

— Нет, просто восхитительно! — прощебетал чей-то веселый голосок.

— Брр! Ну, и собачья погода!

— Садитесь скорей в авто! — слышалось со всех сторон.

— Оценивая критически, блестящая игра и постановка!

Потом громкое, назойливое хихиканье молоденьких барышень:

— Какое великолепное платье с рюшами, мама!

— Ты видела зонтик? А костюм Бидермайера в третьем акте? Восхитительно!

— Знаешь что, Лилли? В этом году мы таки пойдем на карнавал! Правда, мама? Правда?

Болтовня продолжалась наверху, внизу, всюду. Прощанье, целованье рук, приглашения на

— Документы есть?

Швейцар схватил его и рванул назад

завтрашний парадный обед, смех, подъезжающие и отъезжающие автомобили — все слилось в дикий пестрый танец.

Между тем Карл Прувик незаметно пробрался ко входу. Еще один ловкий шаг — и у него на сегодняшнюю ночь над головой будет крыша. Его сердце учащенно билось. В его окоченевшие члены снова вернулась жизнь. Он ловко проскользнул мимо теснившихся людей и сразу почувствовал уютную теплоту. Он украдкой посмотрел на обшитого галунами швейцара, еще больше съежился, затаил дыхание и стал пробираться вдоль стены.

Но в это мгновение движение толпы прекратилось. Она расступилась, и разговоры внезапно оборвались. По образовавшемуся проходу мимо глазеющих зевак к нему быстро шел швейцар с каменным, мрачно-грозным лицом.

— Что вы здесь ищете? Эй, вы! Эй! — кричал он.

Карл Прувик, точно побитая собака, поднял плечи и совсем спрятал голову на дрожащей груди.

— Я спрашиваю вас, что вам надо?—крикнул за его спиной швейцар, с силой схватил его за руку и рванул назад. Молча, не защищаясь, Прувик последовал за кричащим швейцаром и двумя подоспевшими капельдинерами, вытолкнувшими его на улицу.

— Хм, ничего себе! Забраться в театр! — сказал кто-то из толпы и покачал головой. Остановившаяся толпа снова двинулась, протискиваясь к выходу. Мрачно захлопнулась дверь. Мимо, болтая, проходили последние парочки.

Оцепенелый Карл Прувик нерешительно стоял, осыпаемый сверкающим снегом. Одно мгновение казалось, что его тело напрягается и он готов прыгнуть в плывущую мимо, раздушенную, шумную, болтливую толпу, но он только шатаясь спустился по запушенному снегом крыльцу и свернул с театральной площади в узкий переулок. С шумом отъехало последнее авто. Вдали замирали голоса. Яркий свет, струившийся во все стороны от театра, бесшумно погас. Кругом опять воцарился беспросветный, призрачный мрак зимней ночи.

Карл Прувик беспомощно поднял голову. В нескольких шагах от него на фоне снега, точно вися в воздухе, двигалось что-то черное. Машинально, без всякой мысли он последовал за фигурой.

Так он шел долго.

Было уже далеко за полночь. Пусто зияли безлюдные улицы и площади.

Они очутились у опушки городского парка. Прямая, как свеча, фигура исчезла среди деревьев. Карл Прувик зашагал дальше по протоптанным ею следам. Здесь было гораздо темнее. Под тяжестью снега сучья гнулись к самой земле. Лишь временами попадалось более светлое и свободное место и смутно виднелись занесенные скамейки. На одной из них съежившись сидела фигура, за которой он все время шел. Карл Прувик смело опустился рядом с ней и, точно

по внезапному вдохновению, обвил своей окоченевшей рукой мокрые, острые плечи. Два тела устало прижались друг к другу.

— Холодно, — еле слышно пробормотал незнакомец, и его голова бессильно соскользнула на грудь Прувика.

— Холодно, — так же тихо буркнул тот и закрыл глаза. Его голова тоже упала на затылок незнакомца.

Снег перестал. Странно, теперь, безжалостно предоставленные холоду, они уже не чувствовали, была ли это отчаянная жара или ледяной холод, охвативший их члены. Тело потеряло всякий вес. Казалось, оно парит в безмятежной тишине... Вдруг что-то твердое надавило на руку, обхватило, дернуло. Кто-то кричал, точно сквозь туманную дымку, потом ближе. Трясти стали сильнее. Крик разбухал. Голова на груди Прувика безмолвно шевельнулась.

Карл Прувик открыл глаза. Яркий свет карманного фонаря больно ударил ему в лицо и ослепил.

— Эй! Эй! Что это? — кричал шуцман и возбужденно рванул за руку.

— Это еще что такое? Вставайте! Вставайте!

Опять все заныло. Промерзшие кости болели при движении, точно все они были отрублены и со стуком двигались в лопнувшей гипсовой повязке.

Только в комнате полицейского участка Карл Прувик увидел, что рядом с ним стоял еще кто-то, так же тупо и без движения.

С ним говорили два шуцмана, расспрашивали и кричали на него.

Наконец через некоторое время они прошли в какую-то дверь, и свет исчез. Оба лежали на нарах, закутанные в теплые одеяла. Все члены двигались без боли. Медленно возвращалось тепло. От времени до времени шевелилась рука или нога.

Прошло несколько часов, и Карл Прувик опять услышал громкие голоса и холодный воздух пахнул ему в лицо. Затрещали нары, и шаги опять стихли. Где-то захлопнулась дверь. Теперь рядом с ним было пусто.

Когда он открыл глаза, сквозь решетчатое окно падал матовый дневной свет.

Склонный к полноте шуцман с добродушным, упитанным, румяным лицом стоял перед ним и говорил приятным басом:

— Вы можете собираться. Против вас нет никакого обвинения.

Изможденный Карл Прувик приподнялся на нарах.

— Разве вы знали того человека? — спросил шуцман.

Прувик тупо покачал головой.

— Между прочим, за ним несколько краж со взломом, — сказал полицейский и продолжал дальше: — Теперь вставайте и идемте. Вы свободны.

Карл Прувик смотрел на него непонимающим взглядом.

— Суровое сейчас время. Этой зимой такой собачий холод, — пробормотал шуцман и снова попросил Прувика встать.

Наконец он поднялся и прошел с полицейским в дежурную комнату.

За столом сидел вахмистр, державший в руке его документы. Он беззлобно, почти сочувственно смотрел на Прувика.

— Вы свободны, — сказал он официальным тоном и протянул ему инвалидную карточку и военный билет.

Карл Прувик нерешительно стоял, не трогаясь с места.

— Против вас нет никакого обвинения. Со всяким может случиться, что у него нет пристанища, — сочувственно сказал вахмистр.

Прувик машинально взял свои документы.

— До свиданья, — сказали оба полицейских и кивнули уходящему.

Один предупредительно открыл дверь.

Карл Прувик вышел.

Снег перестал. Дневной свет резал глаза. Поднявшийся ветер безжалостно свистел между домами. Был мороз, настоящий лютый мороз...

Перевел с немецкого **Игорь Брусянин.**

Читайте в № 7 „БОРЬБА МИРОВ“

Л. РАДИЩЕВ.

Повесть о двух городах.

С. БЕЗБОРОДОВ.

Два из шести

Д. ЛЕБЕДЕВ.

Малыш из Вассерканте.

Их маршрут: ДРЕЗДЕН—ЛЕНИНГРАД *

ГЕОРГИЙ ВЕНУС

Рисунки П. ЕРМОЛАЕВОЙ

Они идут по Германии

... От картошки шел пар. Он тянулся под плоский колпак гудящей газовой лампы. На краю колпака, наслаждаясь теплом и сонным гудением лампы, дремали мухи.

— Ты хочешь, чтоб я сидел на койке и, опустив руки, не зная, чем все это кончится, ел твой хлеб... Ну, а если через неделю твоего жалкого заработка не хватит на хлеб и картошку?..

Отец молчал.

— Отец, — вновь сказал Эрвин, — не будь упрямым...

— Ты слишком молод, — сказала мать.

У стены, безнадежно опустив руки, сидел старший брат Эрвина, тоже безработный. На табурете под окном стояла швейная машина. На мокром подоконнике лежали катушки.

— Ты никуда не поедешь, — сказал наконец отец.

— Пускай попытается, — сказал брат.

Это были его первые слова за весь вечер.

— Пускай попытается... Я тоже ушел бы, но нет ни сил ни веры...

...Звенели пустые трамваи. Они бежали по пустому зеленому скверу. Медный таз над дверью парикмахера еще не сверкал, как круглое солнце.

В легкую дымку за Эльбой отступали в строгом порядке острые крыши кирок. Вдоль Эльбы ходили безработные, не нашедшие ночлега. Над волнами плыл дым. Над дымом торчали голые мачты.

Эрвин шел на вокзал. На нем были желтые сандалии. Они были надеты на босые ноги. Короткие рыжие штаны из дешевого манчестера трепал ветер. В плечевом мешке Эрвина лежали две рубахи, кальсоны, пара чулок и мыло.

— Эрвин, куда? — окликнул его молодой подмастерье, столяр-формовщик, недавно вместе с ним окончивший срок обучения у мастера.

— В Берлин, — сказал Эрвин. — Здесь пропадешь, как мышь в западне... Меня зовут в Берлин Герберт и Вилли.. Надо искать свое счастье...

Дрезден просыпался.

...В вагонах четвертого класса скамейки стоят вдоль стен; вагоны четвертого класса стучат, гремят и покачиваются. На скамейках сидят старухи в длинных черных платках; старики курят трубки.

Плечевой мешок Эрвина висел на стене. Мешок покачивался, мыло стучало о стенку.

Цвели сады. Красные стены домов ныряли в густые белые волны фруктовых деревьев...

Старуха в черном платке, сидевшая рядом с Эрвином, развязала маленький узелок, достала яйцо и разбила его о скамейку. Бритый старик, сидевший в углу вагона, ел хлеб, густо намазанный салом.

Цвели сады...

Женщина в желтой прозрачной шали, сидевшая рядом с заснувшим мужем, ела копченую рыбу...

Шоссе бежало к далекому городу; в небе скользили телеграфные провода, залитые солнцем.

Эрвин был голоден. Он стоял у окна и смотрел на шоссе, на столбы, на провода, на небо, на солнце и улыбался. Эрвину было только шестнадцать лет...

. . Вдоль стен брызгал дождь. Вода по трубам шла под панель. Сандалии скользили, ногам было холодно. Мокрый котелок, на который смотрел Эрвин, скрылся в толпе.

Котелков было много. Еще больше мягких фетровых шляп, мокрых и сухих, серых, зеленых, черных... Плыли широкие черные зонтики...

В глубокой витрине, окаймленной лампочками, лежали индейки. Они были голые, и только рябые, пестрые перья хвостов поднимались над ними, как широко развернутые веера. Куры рядом с индейками лежали, скромно поджав лапы. На краю витрины лежали белые голуби...

— Да... — подойдя к витрине, протянул Вилли и свистнул.

— Да... — сказал Герберт.

— Что же все-таки мы будем есть?—сказал Эрвин и засмеялся. — Вот проклятые, как разлеглись... А лапки... А лампочек, лампочек...

И три пары мокрых сандалий вновь захлюпали по черным лужам на черном асфальте берлинских улиц.

Решили итти в рабочий район. Стесняться своих не стоит...

Двор был узок. Высокие стены тянулись кверху, суживаясь, и окна верхних этажей казались маленькими, как в тюрьме на Альт-Моабите. На яркий квадрат неподвижного синего неба набежала, клубясь, крутая дорожка дыма.

— Лучше смеяться, чем плакать, — сказал Эрвин.— Ладно, Вилли, лишь бы бросали, а кому подбирать — увидим...

— Ладно, начнем. Эрвин...

Они стали рядышком—Эрвин, Вилли и Герберт—и Эрвин поднес ко рту губную гармошку.

---

* Очерк написан по рассказам Эрвина Штидека. Эрвин Штидек в настоящее время—сотрудник немецкой газеты „Rote Zeitung“ Лен. Областного издательства.

Герман Нейман в настоящее время—инструментальщик на заводе им. Марти.

Вилли Плантенер—инструментальщик на „Красной заре“.

Гармошка затенькала, стала гудеть и визжать, и Эрвин (он боялся взглянуть на высокие окна) посмотрел на Герберта.

— Ну,—крикнул Герберт куда-то в сторону,— пой!..

Гармошка взвизгнула и отыскала басы.

— Ну.. пой.. Ты.. — вновь сказал Герберт.

Вилли запел, но веселая гармошка соскользнула с губ Эрвина. Эрвин, Вилли и Герберт смеялись.

— Баловники, — сердито сказала в одном из окон первого этажа какая-то женщина. — Вот я сейчас дворника...

— Не стоит, добрая тетя... Мы и без дворника... — смеясь сказал Герберт, и все трое — Эрвин, Вилли, Герберт — вновь повернулись к воротам.

— Нужно было спеться... — вздохнул на улице Вилли.

Эрвин махнул рукой.

Герберт смеялся.

— Лучше смеяться, чем плакать... — сказал Эрвин. — Работы на заводах и фабриках нет, петь мы не можем... Что же мы все-таки будем делать?..

... Дом стоял, как скала. Огромный и серый

Высоко вдоль окон соседнего дома летел городской поезд. Гремя, он ворвался в серую стену, прошел сквозь туннель и вновь показался над улицей, ведя под мостом тяжелое эхо грохота.

Полицейский держал свою палочку поднятой

Рельсы под ним догудели.

Широкую улицу за мостом пересекали автобусы. Они шли медленно и хрюкали, как спокойные, сытые свиньи.

— В Берлине нам нечего делать... — сказал Эрвин. Вилли и Герберт молчали.

— Хорошо бы в Россию... — вновь сказал Эрвин.—Там рабочая власть... Хлеб...

Полицейский считал секунды, потом опустил свою палочку, и вдоль улицы — накрест следам, оставленным на асфальте ленивыми шинами автобусов — загудев, хлынули автомобили.

— В Россию?.. Дойти... — сказал Герберт.— Не будем мечтать о том, что невозможно... Но

Они встали рядом—Эрвин, Вилли и Герберт.

в Берлине нам нечего делать, в этом ты прав... Проклятый город...

Но обеим сторонам дороги тянулись виллы. Большие и маленькие, плоские, как кубики, и острокрышие, как гребные станции на тихой Шпре, нарядные и строгие, с балконами и полуярусами, они всеми красками сверкали в глубокой зелени первых июньских дней. Под окнами и балконами росли подстриженные кусты, круглые, как шары из стекла, застывшие над клумбами. На клумбах цвели маргаритки, прибитые к земле недавно прорвавшимся ливнем.

Берлин остался далеко позади.

Эрвин, Вилли и Герберт шли на северо-запад. Вчера, распростившись с Берлином, они перешли пригородную железнодорожную линию и, выйдя на это шоссе, наугад свернули налево.

Кирпичи лежали сложенные возле хлева. Их нужно было перетаскать к конюшне и снова сложить. И начисто вымести двор.

— Ладно, беремся... — сказал Вилли.

— Что же вы стоите? — спросил крестьянин.

Он сидел на скамье.

Во дворе бродили куры и гуси.

— Ну что ж, начинайте...

— А поесть?..— спросил Герберт.

— А суп?.. — спросил Эрвин.

Вилли молчал.

— Нашли осла, — до работы никто не платит... А если, поев, вы возьмете и скроетесь?... спросил бритый, толстый крестьянин. — Сперва работа, потом и суп. И не бить кирпичей. Осторожно..

Работая, ни Эрвин, ни Вилли, ни Герберт в этот день не смеялись и не шутили.

... Они сняли сандалии и шли босиком. Нужно было беречь обувь.

— Как глупо устроен человек... Вчера поели, а сегодня опять хочется... — сказал Герберт.

— Найдем ночлег, уснем, позабудешь о подлом желудке, — сказал Эрвин, шедший с края дороги.

Над болотом начался туман. Острый край одинокой тучи выполз на озеро. В тумане над озером плыли высокие, черные тени сосен.

— Идем и идем... Куда мы идем? — спросил Вилли.

— Хорошо бы пробраться в Восточную Пруссию,— помолчав, сказал Герберт. — Я слыхал — там сытнее и больше работы.

— Работа?.. Ты веришь в работу? — вздохнул Вилли.

— А я повторяю, здесь мы только теряем время. Работать будем только в России, — сказал Эрвин.

— Проклятая ночь... И негде прилечь... Проклятый желудок, он снова тоскует по хлебу, картошке и супу... Да бросьте мечтать о России, когда есть конкретный вопрос: как бы завтра не сдохнуть с голода...

... Когда-то в этих бараках жили русские военнопленные. Вокруг бараков еще сохранилась колючая проволока. На плоском холме за проволокой еще догнивали, упав на землю, деревянные кресты солдатского кладбища.

Сейчас здесь в бараках жили безработные литейщики, монтеры, слесари, маляры, бетонщики, ткачи, стекловары, наборщики. Каждое утро, когда за кладбищем подымалось солнце, они выходили мостить шоссе. Вечером они возвращались в бараки и, бранясь, лезли на нары, роняя с драных подметок жидкие комья грязи...

Была ночь. Эрвин, Вилли и Герберт спали. Они лежали на третьем ярусе нар. Над ними, на досках грязного потолка набухали, качаясь, тяжелые капли воды.

— Эй, вы, подымайтесь! — вдруг услыхал Эрвин.

Вилли и Герберт тоже подняли головы.

— Эй, вы, там, военная Пруссия, ну?... — кричал кто-то, стуча кулаком о доски второго яруса.

С потолка, мигая под светом двух керосиновых ламп, сдвинувших темноту в далекий конец барака, снова сорвалось несколько быстрых, испуганных капель.

— Ну, живо... Не слышите?..

Эрвин спрыгнул на пол.

— В чем дело?... Пожар?...

Вилли и Герберт тоже спустились с нар. Лампы коптели. Одна из них стояла на нарах первого яруса.

На третий ярус, болтая в воздухе ногами, лез молодой безработный токарь, тот, что бросал на сита песок и гравий. Бородатый литейщик, по лицу которого бегали рыжие пятна, протянул ему другую лампу.

— Ну?..

— Нашел... Под мешком в головах припрятали... — крикнул токарь и, болтая ногами, вновь спрыгнул на пол.

— Вот... — сказал он и протянул к лицу Эрвина завернутую в грязную тряпку бритву.

— А теперь убирайтесь...—сказал бородатый литейщик и поднял кулак к лицу Герберта.

— Вон! — крикнул наборщик, тот, у которого украли бритву, и схватил Вилли за шиворот.

Хлопнула дверь и вновь распахнулась, и вновь захлопнулась, рванув за собой короткую, черную тень.

Вещевые мешки — три вещевых мешка — шлепнулись в лужи.

За колючей проволокой над ровным гребнем холма лежала круглая желтая луна.

Над ней кружились летучие мыши.

Светало. Было тихо, и розовый дым пробежавшего поезда долгое время висел неподвижно в воздухе.

— А у меня последнюю смену белья...—просмотрев свой вещевой мешок, сказал Вилли.

— А у меня чулки и губную гармошку... — сказал Эрвин.— И мыло тоже...

— Возвращаться?.. Нет, не будем... Не звать же полицию,— сказал Герберт.— Ладно, вперед... По крайней мере мы заработали несколько марок и польский коридор мы сможем проехать поездом... В Восточной Пруссии будет легче...

Розовый дым рассеялся.

Эрвин, Вилли и Герберт шли на восток. Кенигсберг просыпался в тумане.

На лестнице стояла фигура рыцаря. Забрало на лице его было опущено, одна рука в железной перчатке тяжело покоилась на бедре. Рыцарь был серый, он тонул в полумраке под серой стеной.

Спустившись с последних ступенек лестницы, Эрвин, Вилли и Герберт остановились и взглянули на железного рыцаря.

— Какой герой... Гец фон Берлихинген, что ли?... — сказал какой-то мужчина, вместе с ними спустившийся по широкой лестнице кенигсбергской биржи труда.— Гец фон Берлихинген, тебя еще не заставили снять твои латы и кла-

няться всем чиновникам, что важно проходят мимо тебя?..

— Товарищи, — выйдя на улицу, сказал Эрвин. — Я снова ставлю вопрос: пойдемте в Россию...

Герберт этого не слышал. Он стоял на углу и громко бранился с полицейским, теснившим толпу безработных с панели.

... Над морем тянулись прозрачные полосы дыма. Они отплывали от труб пароходов. Синяя даль за дымом и мачтами плыла в далекое небо.

Эрвин, Вилли и Герберт молча стояли на набережной.

— Вот... Дошли до края Германии. Море...— сказал наконец Герберт. — Товарищи, что же нам делать?.. Вилли прав: скоро начнем воровать... Что же нам делать?...

Большой белый пароход, на который смотрели Эрвин, Вилли и Герберт, медленно поворачивался. Вот он опять заревел и выбросил в небо новые клубы дыма. Над белой кормой парохода развернулся приподнятый ветром широкий ярко-красный квадрат советского флага.

— Смотри... — сказал Эрвин, и голос его оборвался. — Герберт, смотри...

Пароход, подняв корму, уходил в море.

— Герберт, смотри...

— Эрвин, ты прав,— сказал Герберт и, вытянувшись, туго стянул плечевые ремни вещевого мешка.— Советский Союз далеко, но ближе спасенья нет... Дойдем... Лучше к далеким друзьям, чем под дубинки своих полицейских, бьющих тех, кто требует хлеба. Дойдем, товарищи... Ну-ка, в советское консульство...

Они идут по Литве и Латвии

... Поля не мелькали, а прыгали.

Потом спустилась ночь.

Маленький черный автомобиль, в котором, смеясь и балагуря, ехали Эрвин, Вилли и Герберт, все еще прыгал по грязной, разбитой дороге.

Эрвин выглянул за окно. За ними, ныряя во тьме над черными лужами, гудя и пугая гудками уснувшие хаты литовских деревень, летело еще несколько маленьких автомобилей.

— Два, три, пять... восемь... десять...— считали, сбиваясь, Вилли и Герберт.

Далеко за мостом, только что промелькнувшим на гладких стеклах летящего автомобиля, подымались, прыгая, крутые белые фонари: последними шли грузовые машины.

— Господа студенты, — смеясь, кричал Эрвин. — Вилли, Герберт, господа студенты, весело?..

... Утро было бледное, день — туманный и серый.

Автомобили, закупленные в Германии, все еще мчались вперед быстро и радостно, сбрасывая километры с далекого пути Эрвина, Вилли и Герберта. Автомобили шли в Ковно.

Эрвин, Вилли и Герберт, когда-то посещавшие в Дрездене вечерний рабочий университет и решившие выдавать себя за студентов, использующих свои летние каникулы, чтоб молодыми глазами молодых беззаботных студентов посмотреть на „жизнь и быт соседей", без особого труда получили визы в литовском и латвийском консульствах и качались в мягком и удобном сиденьи. Их бросало из стороны в сторону.

— А что, если мой отец, действительный статский советник, позабудет выслать мне в Ковно деньги? — сказал Герберт и вновь засмеялся.

— А мой добрый дядя не переведет в банк?

— А мой дедушка, добрый старенький дедушка не вышлет в Ригу?... Плевать, ребята, бывало и хуже... Такие студенты, как мы, умеют таскать кирпич и мостить дорогу... Студенты будут работать...

За стеклом, нагоняя друг друга, скользили вдоль ельника белые стволы березок. Шофер, подсадивший к себе в машину Эрвина, Вилли и Герберта, положил на руль правую руку и, перекосив широкую спину, достал из кармана краюху черного хлеба.

Эрвин взглянул на Вилли, Вилли — на Герберта.

... Автомобили стояли возле мостика. Они казались издали черными силуэтами. Над мостом боролась с тучами низкая луна.

На мокром песке возле самой воды горел костер. Над костром, вытянув носик, висел жестяной закоптелый чайник. Шоферы, собравшиеся вокруг костра, бросали в золу картофель. Банка с солью стояла на пне. На этом же пне лежали две селедки.

Перегнувшись над гнилыми перилами мостика, Эрвин, Вилли и Герберт смотрели на речку. В высоком, черном камыше на перегибе тихой реки грузно плеснулась какая-то рыба.

— Откуда у них картофель?.. — помолчав, спросил Эрвин.

— Откуда... Из дому...

— Соль тоже из дому, — улыбнулся Вилли

— Пожалуй...

— И хлеб...

— Пожалуй...

Высокий, широкоплечий шофер, озаренный красным, мигающим светом костра, поднял в это время голову. Он взглянул на Эрвина, на Вилли и Герберта, на своих веселых бесплатных пассажиров, потом поднялся с песка и, сказав что-то своим товарищам, подошел к мостику.

— Ну?.. — спросил он.

Он плохо говорил по-немецки. Эрвин и Герберт улыбнулись.

— Что? — спросил его Эрвин.

— Когда вы едите, господа студенты? Вот что мне интересно.

Эрвин, Вилли и Герберт молчали.

— Мы совсем не едим... — неожиданно сказал Герберт.

— Привыкли... — сказал, улыбаясь, Вилли.

— Вот что... — подумав, сказал шофер.— Садитесь-ка с нами и бросьте валять дурака. Рабочий с рабочим всегда поделится. Какие вы к чорту студенты?..

... В лужах блестело солнце. Из луж пили птицы. В глубокой луже, обняв сорванную ветром вывеску, лежал пьяный. Над ним стоял полицейский.

Колокола всех церквей и костелов города Ковна извещали народ о воскресном празднике.

Было утро. Эрвин, Вилли и Герберт уходили из Ковна.

У шлагбаума, когда тюрьма, забор и маленькая закоптелая фабрика остались далеко позади, широкоплечий шофер, вышедший их проводить, остановился.

— Прощайте, товарищи, — сказал он. — Счастливо дойти. Честное слово, будь я один, я, ни минуты не думая, пошел бы вместе с вами...

Блестели рельсы. В высокой траве на скосе железнодорожной насыпи сверкала роса.

— Прощайте, товарищи!

Промчался поезд.

Эрвин, Вилли и Герберт, двое суток отдыхавшие в семье приютившего их шофера, свернули направо и бодро пошли по шоссейной дороге.

В Ковне, в советском консульстве, они разрешения на въезд в Советский Союз еще не застали. Москва, запрошенная советским консульством из Кенигсберга, еще не прислала ответа.

Эрвин, Вилли и Герберт шли сейчас в Латвию.

— Ничего, товарищи... Застанем в Риге...

... Вечер был тихий. На огурцах, которые срывали Эрвин, Вилли и Герберт, играли спокойные, желтые пятна солнца.

— Пятый день огурцы... Одни огурцы... — сказал Эрвин. — Удивляюсь, как нас еще не скрутила холера.

— Удивляюсь, как нас еще не поймали,— сказал Герберт. — Поймают, вытряхнут огурцы из карманов и поведут, как вчера этого старика-еврея в местечке... Тоже, говорят, воровал... картофель с чужой грядки...

— Здесь все воруют.

— Не так, Вилли... Здесь все голодают...

— Ну, уж и все... — сказал Эрвин. — А те, кто купил эти славные черные фордики?..

... Они лежали под стогом и спали. Ночной туман переполз кусты. Стало еще холоднее.

Эрвин, не просыпаясь, залез глубже в сено. Он видел во сне арку, о которой рассказывал в Ковне широкоплечий литовец - шофер. За ней начинался Советский Союз. Арка сияла, как радуга.

... Все чаще и чаще встречались люди, говорящие по-немецки. По дорогам за селами пылила латвийская конница. В небе летал самолет.

Маневры...

... У них отросли волосы, ноги загорели, сандалии стали широкими, подошвы на сандалиях — тонкими, как бумага. Итти по камням было больно.

Беспощадное солнце блестело на белых стенах строений.

В ворота открытого хлева, не щуря на солнце больших, круглых глаз, свирепо глядел бурокрасный бык с крутыми рогами. В носу быка было продето кольцо. Круторогий бык неподвижно смотрел на Эрвина, Вилли и Герберта, он дышал тяжело и отрывисто, и с серого цемента под его дыханием подымалась золотая пыль солнца.

У белой стены большого, как хлев, курятника стоял рыжий латыш, хозяин. Он тоже неподвижно смотрел на Эрвина, Вилли и Герберта, молчал, сопел, сосал мундштук своей трубки, и над белой фарфоровой чашечкой ее подымался золотой от солнца дымок.

Когда Эрвин, Вилли и Герберт опускали вилы, чтоб вытереть пот, бегущий по их обожженным лицам, рыжий латыш вынимал изо рта свою трубку, сердито качал головой и вновь указывал на навоз.

— Проклятый бык...—говорил тогда Вилли.— Тебя бы так на жаре заставить... Во всех деревнях эти сволочи... Хуже буржуев!..

— В России их нет, вывели, — сказал Герберт. — Ничего, скоро вечер... Терпи, товарищи, отдохнем... Зато до самой Риги поедем поездом..

... Это было на следующий день. Поезд свистел, мальчишки за окнами пускали бумажные змеи.

Паровоз свистел, и Эрвину, Вилли и Герберту казалось — он будет свистеть до самой Риги...

Опять мелькнула какая-то станция; поезд, зазвенев буферами, остановился, и к Эрвину, Вилли и Герберту весело подошел толстый кондуктор.

— Уже?—спросил удивленный Эрвин.

— Рыжий, проклятый бык,—сказал Герберт.— Он дал нам только на треть дороги.

До Риги было еще далеко...

... И опять пыльная даль дороги, и опять камни, по которым больно ходить, и опять стоги, беспощадное солнце в небе, а ночью — холодные, низкие волны тумана.

И опять огурцы...

— Теперь уж недолго... Вилли, брось, не хромай...

В деревнях молотили хлеб.

... Ночью в небе стояли лучи прожектора.

... Когда густая пыль, поднятая какой-то телегой, вновь легла на дорогу, Герберт содрал кепку и высоко подбросил ее в воздух.

— Рига!..— крикнул он, обернувшись к Вилли и Эрвину.

Кепка Герберта упала на край дороги. Заслонившись от солнца, Эрвин и Вилли тоже смотрели вдаль. Нагретая солнцем даль колыхалась.

— Товарищи, Рига!... — крикнул Эрвин.

Это было на четвертые сутки после того, как Эрвин, Вилли и Герберт сошли на маленькой станции с поезда.

... Шли лошади, высоко подымая копыта. Трамваи звенели. В витрине длинными рядами висели галстуки. Красные и лиловые, в клетку, в полоску и опять в клетку, в клетку и в клетку.

По главной улице шли войска.

Прохожие оборачивались и удивленно смотрели на Эрвина, Вилли и Герберта. Длинные, выгоревшие на солнце волосы Эрвина, непокорно выбившиеся из-под кепки, были покрыты пылью. Вилли хромал. Чулки на ногах Герберта были дырявы, рваные подошвы запыленных сандалий гулко хлопали по тротуару.

— Унывать по-моему нечего, — убеждал товарищей Герберт. — В конце концов и до Ревеля не так уж далеко, а в Ревеле мы во всяком случае разрешение на въезд в Советский Союз застанем... Может быть оно давно уж пришло и ищет нас. В конце концов денег у нас все равно нет и нам все равно пришлось бы пешком итти через Эстонию... А голодать мы привыкли... Не так ли?

— Так...

Уже вечерело, и на шумных улицах Риги зажглись фонари.

У стеклянных дверей подъезда, к которому, перейдя главную улицу, подошли Эрвин, Вилли и Герберт, стояло несколько полугрузовичков. Подъезд распахнулся. Из подъезда на открытую площадку ближайшего грузовичка полетели тяжелые кипы газет и журналов.

— Вероятно издательство... Здесь редакция... Вероятно в редакции пьют чай и едят пирожные... Я тоже бывал в редакциях...

— Товарищи, — вдруг улыбнулся Эрвин. — Товарищи, вероятно эти автомобили развозят газеты не только по городу... Герберт, ты мастер на выдумки, при удаче мы можем вновь сократить дорогу...

Курьер в широком, просторном коридоре, выкрашенном в темнозеленый цвет, пожал плечами. Он не понимал по-немецки.

— Мы к редактору... — сказал ему Вилли.

— Редактор... Ну?..

— К господину редактору...

— Ну, к редактору... Понимаешь?..

Вдоль стены коридора стояли мягкие кресла. Окно в конце коридора было открыто.

— Но позвольте, кто вы такие и зачем вы хотите к господину редактору? — спросил молодой человек в больших роговых очках.

Он взглянул на длинные волосы Эрвина, потом опустил глаза и удивленно посмотрел на чулки Герберта.

— Что вам угодно?

— Разрешите представиться, — очень уверенно сказал Герберт. — Студенты-туристы. Цель — пройти все страны Европы... Мы идем на пари, не взяв из дома ни пфеннига... Если господин редактор не интересуется вопросами и жизнью студентов во время летних каникул, нам, собственно говоря, ничего не угодно... Прощайте..

— Мы очень рады, господа студенты... Прошу пройти... Я не сразу вас правильно понял...

Молодой человек в роговых очках протянул руку.

— Вопросы здорового спорта... Конечно, господа студенты, это весьма интересно... Весьма... Прошу вас пройти к господину редактору...

Когда Эрвин, Вилли и Герберт пошли к кабинету редактора, сквозь открытое окно в конце коридора донеслось далекое, еще неясное пение „Интернационала". Вероятно по улице шли демонстранты-рабочие.

... Стеклянная дверь подъезда была открыта. Полугрузовички все еще стояли на улице. По улице быстро шли полицейские.

— Герберт, ты молодец... — спускаясь по лестнице, сказал Эрвин.

— Итак, завтра утром мы вновь на колесах. Ловко, Герберт!

— Эрвин, если бы ты знал... Если бы ты знал, Вилли, как трудно было усидеть в этом мягком, удобном кресле и заливать редактору, в то время как за окнами шли и пели рабочие... Если бы вы знали, товарищи, как трудно было удержаться, чтоб не вскочить с этого кресла и не сказать редактору все, о чем я передумал за наш бесконечный путь... Но завтра мы едем, ладно... а правда от нас не уйдет, мы ее еще скажем...

... Было раннее утро. Еще только светало. На широком, пустом мосту шагал отряд полицейских. По серой Двине скользил полицейский катер.

Полугрузовички, нагруженные кипами газет и журналов, быстро сбежали с моста, и серая, легкая струйка пыли сползла с асфальта на серую гладь реки.

Высоко на кипах газет и журналов сидели Эрвин, Вилли и Герберт.

Когда взошло солнце, Эрвин, Вилли и Герберт уже смотрели на ровные, желтые нивы.

Они идут по Эстонии

... Первым шел Герберт. За ним — Эрвин. Последним, отстав, Вилли. Они шли молча, так как все, о чем можно было говорить, давно уже было рассказано.

Над ними сияло круглое солнце.

... Первым шел Герберт. За ним — Эрвин Последним, отстав, шел Вилли. Вилли хромал.

Далеко над краем черного поля медленно двигался бледный краешек месяца.

... Герберт отстал. Первым шел Эрвин. Вилли, хромая, сошел с дороги. Герберт и Эрвин тоже остановились.

— Ну?..

Вилли стоял над грядками. Над краем низкого, сжатого поля бежали косые полосы дождика.

— Огурцов нет, — сказал Вилли.

Дождь ударил по гулким листьям капусты. По ровной дороге запрыгала пыль.

— Ну?..

— Иду... — сказал Вилли.

На ровной, гладкой дороге, по которой метались веселые столбики пыли, осталась лежать чья-то подметка.

... Острая крыша кирки была выкрашена зеленой краской. Крыша белого, чистого домика, в котором жил пастор, тоже была зеленая.

— Пастор, конечно, немец... — сказал Эрвин.

Знакомства редактора рижской газеты простирались далеко за пределы Латвии. Эрвин, Вилли и Герберт вспомнили об этом, когда голод вчера вечером вдруг закружил перед ними поля, кусты и дорогу. Дорога кружилась, как крылья мельницы...

Сегодня от голода тоскливо и тихо таяли силы.

— Сегодня мы пообедаем... — сказал Герберт и толкнул дверь.

Затявкала собачонка.

В кармане у Герберта хранилось письмо редактора. Последнее.

— Впрочем, после сытного обеда... — уже шопотом продолжал Герберт, входя в переднюю пастора. — Впрочем, после сытного обеда можно дня три пройти и голодными... Еще три дня, товарищи... Скоро Ревель...

... На солонках блестело солнце. Пастор был бритый, в очках; на стеклах его очков тоже блестело солнце.

Пастор сидел за столом. Часы на стене били мучительно медленно.

... Когда пастор медленно поднялся наконец со стула, склонил голову и сложил на скатерти большие, белые руки, Эрвин скосил глаза и вновь взглянул на стол.

Над миской с супом подымался пар.

На пузатую миску с другого конца стола смотрели, скосив глаза, Герберт и Вилли.

— Юность.. Да, юность, спорт, здоровый режим, изгоняющий грех из души и тела... — продолжал за обедом пастор. — Бодрое, юное сердце, бодрые мысли, солнце в утреннем небе, далекий мир, с такой любовью и так прекрасно

Пастор сложил на скатерть большие белые руки.

созданный господом богом... Я тоже был молодым и тоже, как вы, с такой же сумкой за плечами, исходил все дороги моей родины, весь мир, над которым поют, кувыркаясь, звонкие жаворонки...

За окнами чирикал воробей. О дно тарелок звенели ложки.

— Да, — кротко сказал Вилли.

— Да, — кивнул Эрвин.

В супе плавали жирные клецки. Они по две ложились в ложку. Эрвин, Вилли и Герберт, улыбаясь, кивали пастору.

Потом принесли жаркое.

— Да.. — сказал Герберт и вновь замолчал, спохватившись. Он хотел сказать:

— Да, старый дурак, вот это я понимаю...

... К вечеру Вилли стал отставать. Первым шел Герберт. За ним — Эрвин. Ночью сверкали зарницы.

— Я голоден... Я не могу..

— Товарищи, завтра мы будем в Ревеле...

... Вода в колодце была холодная. Старая эстонка поставила на землю ведра и о чем-то спросила Эрвина. Эрвин ее не понял. Он продолжал молчать.

Герберт и Вилли стояли за срубом колодца. Ноги Вилли были изранены. Босоногая девочка,

куда-то посланная старухой, вернулась с караваем черного хлеба.

— Гляди, теперь пожалуй пойдем... — сказал Герберт. — Не вздыхай о нас, добрая бабушка, мы скоро будем в России...

... Ночь.

.. Утро.

... Эрвин шел впереди. За ним Герберт и Вилли.

... И вот загудели далекие пароходы.

... Девочка в пестрых носочках везла за собой желтую тачку. Толстый мальчик в матросском костюме нес совок. С совка сыпался белый песок.

— Это не консульство, а Совторгфлот, — сказал Герберт, вновь вернувшись в маленький, круглый сквер, где одиноко сидел на скамейке Вилли.

— А Эрвин еще не вернулся.

— Пойдем, Герберт, встретим... Здесь, во всем Ревеле, только и есть два дома, над которыми мы видели красные флаги. Ты попал в Совторгфлот, значит Эрвин не мог ошибиться... Я как-нибудь дотащусь...

В сквере цвели цветы.

За низкой оградой стояли торговки. Они продавали молоко и булки. Герберт и Вилли прикрыли калитку, перешли грязную площадь, миновали забор, исклеенный киноплакатами, с которых улыбался Дуглас Фербенкс, и вдруг увидели Эрвина.

— Эрвин... Ну? — крикнул Вилли.

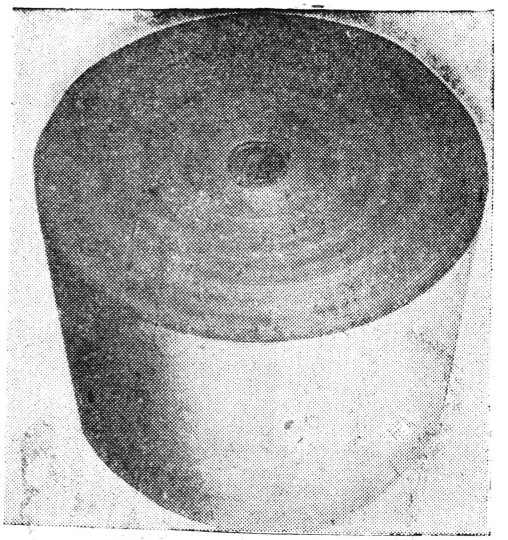
— Вилли! — крикнул Герберт. — Вилли, он бежит. Смотри, он бежит, Вилли, смотри — он машет рукой... Эрвин! Эрвин, сюда!..

С горы, по грязной узкой улице, по которой, подняв над холками хомуты, медленно спускались ломовые лошади, бежал забрызганный грязью Эрвин. Его длинные, светлые волосы, выбившиеся под ветром из-под кепки, горели на солнце, грязь из-под ног летела яркими брызгами. Эрвин махал рукой, над ним — в гору — бежали грязные доски забора.

— Вилли... Герберт... Товарищи... Есть!.. — кричал издали Эрвин.— Вилли... Герберт... Виза... Мы получили...

Заборы над Вилли и Гербертом быстро рванулись под гору.

Вилли и Герберт бежали навстречу Эрвину. Вилли бежал, хромая.



сегодня

136

Н. ВАГНЕР Оформление А. ВАСИЛЬЕВА

Из самой земли, из ямы, из „волчка", где шипит кокс зеленым и лиловым огнем, мимо откинутой на блоке крышки, вверх на подъемном кране ползет горшок. Корявые щипцы— огромные ножницы — тащут горшок от „волчка". Они бережно ставят его в петлю чугунных вил на песок, и песок дымится под осыпающимися искрами. Розово-красный горшок стоит в петле чугунных вил.

Тогда рабочие поднимают его за рукояти вил и несут по черной земле, и он напоминает сусальное яйцо с отбитым верхом или китайский гофрированный фонарь, а у краев его срезанного верха, под розовой пенкой, плавится зелено-голубая, едкая жижа.

— Тигель,—говорит усатый старик в заношенной до лоску робе. — Графитный горшок... Медь...

— Подымай выше, — говорит Гущин.— Назад! Наваливай... так...

Горшок покачивается над земляной, высокой кубышкой. Вместе с зеленой жижей течет на нее огонь, и едкий дым и вкус меди бьет в глаза, ноздри, рот.

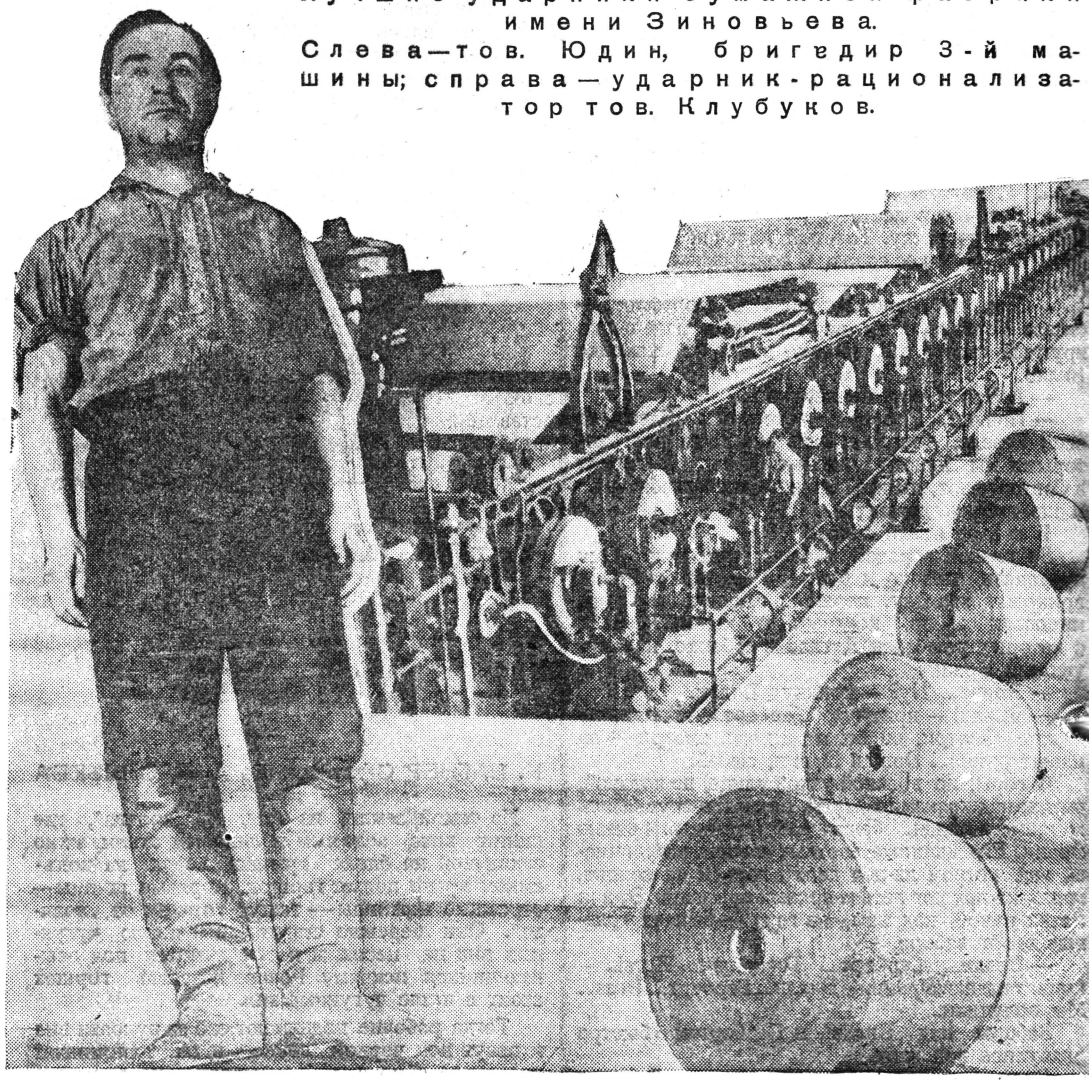
— Давай наваливай, — говорит Гущин. — Спирков! Давай больше, наваливай.

У Спиркова высокие плечи и буйный клок под козырем фуражки. И плечи, и клок, и козырь фуражки запорошены копотью. Густые и редкие капли идут по его лбу и носу. Спирков отводит от кубышки конец вил.

— Стой! — говорит Спирков. — Из выпара вышла...

— Стой!—повторяет Гущин. — Бери назад... Давай...

Лучшие ударники бумажной фабрики имени Зиновьева. Слева—тов. Юдин, бригадир 3-й машины; справа—ударник-рационализатор тов. Клубуков.



Тигель вновь накренивается, и в новую форму, в новый, набитый землей деревянный ящик — в опоку — сквозь дыру литника льется медь.

И снова Спирков говорит:

— Стоп!..

И снова Гущин повторяет:

— Стоп!.. Довольно..

Новый тигель ползет из второго волчка. Изъеденный край задевает за кромку выложенной железом ямы. Цепи блока останавливаются: рабочий боится сорвать щипцы и разлить зелено-синий огонь. Спирков от жара закрывает лицо огромной брезентовой рукавицей.

Тогда Гущин шагает коротким, незаметным шажком, быстро, как кошка лапой, ударяет рукавицей по рычагу щипцов и быстро оттягивает назад руку. Теперь и по его лицу бегут густые ручьи и кожа багровеет, как будто человека подогревают изнутри.

— Шестьсот, семьсот градусов, — говорит усатый старик, и усы его, как и рукавицы Спиркова, как висок Гущина, горят розово-красным огнем.

— Шестьсот, семьсот градусов, — говорит усатый старик, — ядовитое дело, а надо...

Новый тигель совершает свой путь от волчка к черным, ожидающим литья опокам. Гущин обтирает мокрое лицо куском бумаги. На земляной кубышке, на опоке, у дыры литника оседает растопленная медь кружком баклажанного цвета с зелеными крапинками.

Если бы слово „металлист" имело цветную окраску — цветом его были бы земляной цвет опоки и сочный цвет огня. Если бы слово это имело вкус — вкусом его была бы медь, угар чугуна, вязкость слюны под небом. И еще у этого слова есть запах: пороховой запах борьбы, спецовки, пропыленной от дыма и газов, и черного пота.

С профессией металлиста неизменно связано представление об огромных домнах, мощных паровых молотах, водопадах расплавленного металла и грохоте механических кранов.

А здесь — всего одна вагранка на четыре-пять тонн чугунного литья и пять глазков медеплавильных „волчков" и общих ям. Ручные блоки и цех такой, что можно переплюнуть вдоль и поперек, но здесь — настоящие металлисты и настоящее литье.

Литейный цех, как сердцевина механического завода, — все больше и больше входит в каждый оборот машины, в каждый посвист трансмиссий Окуловских бумажных фабрик. Окуловские фабрики — сложный комбинат. Целлюлозный завод, сеть древесномассных заводов, бумажная фабрика требуют постоянно ремонта, больших скоростей в исполнении заказов, требуют частой замены сношенных деталей машин.

Окуловские фабрики несут тугую нагрузку: задание в сто тридцать шесть тонн бумаги суточного производства повышает темпы соседних с бумажным отделов, повышает напряжение вспомогательных заводов и неизбежно влечет реконструкцию самого производства.

Но реконструкция и ремонт тесно связаны с заменой изношенных деталей станков новыми, к замене устаревших установок более совершенными. А изготовление новых частей влечет за собой срочные заказы на сторону — в Ленинград, в Иваново-Вознесенск, в другие промышленные центры страны. Но и Ленинград, и Иваново, и другие промышленные центры забиты всевозможными заказами. Они не успевают в срок выполнить новые требования, а машины Окуловского комбината нельзя пустить в ход без ремонта и нельзя остановить их на ремонт, потому что Окуловский комбинат — мощный комбинат, который даст Советскому Союзу почти сорок семь с половиной тысяч тонн бумаги в 1932 году.

Так перед Окуловским комбинатам встает новая ответственная задача: необходимо на своем механическом заводе дать максимум выполнения своих заказов, разгрузить заказы на сторону и освободить производство от импорта.

Максимов, молодой литейщик, стоит посреди литейного зала. Обеденный гудок еще не успел потушить последних раскатов рева, в ушах дрожит еще бодрящий гул и удары молотков в обивочником отделе.

Но Максимов уже не слышит достукивающих свою дообеденную норму молотков обивочников. Он стоит посреди литейного зала, широко, как на палубе, распялив ноги. В руке его — тетрадь. Он смотрит на усатого старика в заношенной робе.

— Василь Васильич, — говорит Максимов, — вот задание.

Он показывает рукой на тетрадь, — читает:

„... к 13 — 14 февраля — отлить первый патрубок.

... к 1 — 2 марта закончить отливку всех трех патрубков.

... к 1 апреля — закончить монтаж колчеданной печи.

... к 15 апреля — пустить в ход колчеданную печь...".

Под самым окном сидит на корточках грузный человек. Как детская игрушка лежит перед ним вдавленное в землю красное ликированное колесо. Это — старый и опытный металлист, Александр Степанович Ширяев.

Любовно оглаживает он узкой лопаткой у краев колеса землю, и земля понемногу принимает блеск чугуна. Тогда Александр Степанович посыпает песочком у краев модели.

— Шкиво будет, — говорит он.

Он бросает гладилку. Подымается во весь свой коренастый рост, расправляется, потягивается, глубоко тянет в себя воздух.

— Вот, — говорит Максимов, — дело срочное, знаешь, Василь Васильич — печь колчеданную надо выполнить, а то сорвем промфинплан и не дадим сто тридцать шесть тонн... Если в модельной задержится, не успеть будет отлить патрубки и печь не соберем сразу...

От литейного цеха в сторону на несколько десятков шагов — модельная мастерская.

На самом верху мастерской — склад моделей. Крутая лестница идет к этому складу.

Василий Васильевич Богомолов по двадцать раз в день бегает от своего столика с чертежами вверх по этой лестнице. По двадцать раз в день подымают проворные ноги пятьдесят восемь лет трудовой жизни Василия Васильевича. За этими пятьюдесятью восемью годами лежит почти вся история Окуловских бумажных фабрик.

Василий Васильич помнит еще основателя фабрики Ленера и сменившего его нового владельца, Пасбурга. Он помнит сына Пасбурга, любителя охоты, Роберта Ивановича Франка, наследника-зятя, он помнит, как перешла фабрика за долги к фабриканту Рябушинскому. Он помнит наливные колеса вместо турбин, первые свои плотины, вбитые его же — Василия Васильича — руками, барский дом, что с трепетом, сняв шапки, обходили рабочие, он помнит тройки владельца, и двенадцатичасовой труд, и подрядчиков, и свои ребяческие годы в полуголодании.

Сейчас Василий Васильевич — выдвиженец на высокую должность заведующего модельной мастерской, безбожник и ярый общественник. Сын его учится в Ленинградском институте, другой—в местном ФЗУ, дочь — активистка в комсомоле.

— Вот и я, — говорит Василий Васильевич,— подал в партию.

Василий Васильевич давно уже привык к чертежам, к выделке моделей, к сложным расчетам.

— Мозги порой запляшут в голове—сколько дела кругом... Вот и сейчас, посмотрите, накат Поппе делать надо? — Надо. Почему не делать? Зачем из-за границы везти? Разве сами не сумеем сделать у себя? Сумели колчеданную печь свою ставить?... Свою!.. И сделаешь!.. В срок, говорю, сделаешь, откажешься от выходных дней на время, а изготовишь модели!..

Василий Васильевич тычет пальцем в чертеж.

— Вот опять шестерня. Как ее сделать?.. Иной модельщик ее целиком сделает, сплошную. А зачем целиком, когда по одной половине можно десятки цельных шестерней сделать... И опять-таки — можно разборную, составную шестерню сделать: надо шире окружностью — шире, надо тебе уже — уже будет...

Василий Васильевич переводит палец с чертежа в воздух. Он отыскивает глазами знакомые фигуры: это ученики Василия Васильевича.

— Вот, — останавливается палец на одном из них. — Вот это мой ученик. Два года назад не умел к модели подойти, а сейчас вот какие вещи делает. Сложнейшие вещи — части к накату Поппе. А этот вот из плотников, а понимает: из плотника модельщика сделать — это не пустяки тебе!

Палец переходит на пустое место у крайнего верстака.

— А вот женского пола здесь две ученицы мои были: одна теперь в Ленинграде в институте, другая на рабфаке...

Сейчас терпит Окуловский комбинат большую нужду в древесной и главным образом в целлюлозной массе. Нынешний целлюлозный завод стар, маломощен, не удовлетворяет минимальным требованиям фабрики. Чтобы обеспечить бумажный отдел окуловской целлюлозой (а привозной целлюлозы здесь нет), надо по крайней мере прибавить одну колчеданную печь в самом ближайшем времени.

Созданием этой печи и заняты сейчас окуловские металлисты, окуловские литейщики (они же формовщики). Сейчас в центре внимания — прочное советское литье новой колчеданной печи. Для нее и вокруг нее стягиваются сюда и другие профессии — модельщики, токари слесаря. Первая советская колчеданная печь для добычи сернистого газа к 1 апреля 1932 г. должна подняться в Окуловском комбинате.

Если спросить Михаила Аверьяновича Кудрявцева, заведующего механическим заводом, или рядового литейщика Спиркова — каждый скажет одну и ту же простую истину:

— Не на Рябушинского работаем! Дадим сто тридцать шесть тонн бумаги суточного задания.

Механический завод не только приступает к постройке своей колчеданной печи. Он имеет уже блестящие успехи в недавнем прошлом.

Здесь, на этих полукустарных установках, при слабой механизации, в тесноте, мобилизуя свои внутренние ресурсы, завод показал себя: литье Окуловского завода уже хорошо известно не только на самом комбинате, но и далеко за его пределами, на других фабриках и заводах страны.

Бумажное производство нуждается в насосах. Заграничные насосы дороги, доставка их длительна. И вот отлили окуловцы свои советские центробежные насосы. Советские насосы были испытаны и признаны вполне удовлетворительными. И вот сейчас Окуловский механический завод будет уже снабжать всю бумажную промышленность центробежными насосами (четырнадцать насосов поставлено заводом на сторону — на Сясь, на Балахну и в другие места, и получен новый заказ на двадцать четыре насоса).

Отлито пять сложных насосов для „Бумснаба", изготовлены сотни горшков неогара и отправлено для других фабрик. Для кулатинских текстилей изготовляются колосники, для фабрики „Сокол" чугунные колеса. Для своих нужд отливают части для транспортеров баланса и всевозможные детали станков, шестерни, диски, патрубки, валы, сетки для варочных котлов целлюлозного завода, шкивы, тормозные колодки для вагонов, гребки для печей и прочие мелкие чугунные и медные поделки.

И наконец последнее достижение завода — накат Поппе для бумажных машин, части которого отливаются сейчас в литейной.

Накат Поппе — дорогая и сложная часть бумагоделательной машины. Никогда еще не выделывался накат Поппе в СССР. Этот ответственный станок, как бы завершающий главнейшую операцию обработки бумажного сырья, требовал больших валютных средств для получения его из-за границы, и изготовление его у нас, без лишних затрат на оборудование, является настоящим достижением советских пролетариев и, в первую очередь, металлистов механического завода Окуловских бумажных фабрик.

ЧЕРНЫЙ день

С. БЕЗБОРОДОВ

Рисунки Л. Гольденберга

Наступал 1919 год.

Наступала эра интервенций.

Город Портленд, в штате Орегон, знаменит не только тем, что там родился 22 октября 1887 года Джон Рид. Этот город знаменит еще и тем, что портовые рабочие Портленда первые в Америке отказались грузить военное снаряжение для армии адмирала Колчака.

В „Книге Билля Хейвуда“, в бессмертном завещании большого неукротимого Билля, сотни страниц заполнены тщательным описанием пробуждения классового сознания американских пролетариев. Портленд был первым городом, громко заявившим о своих симпатиях к далекой Советской России. За Портлендом поднялись рабочие Чикаго, за Чикаго тронулись пролетарии Филадельфии, Балтиморы, Нью-Йорка.

Митинги протеста против интервенции бушевали по стране. Губернаторы закрывали глаза, делая вид, что они не знают, как фашистские молодцы линчуют агитаторов ИРМ („индустриальные рабочие мира“). Тюрьмы набивались до отказу „агентами Москвы“, „агитаторами Коминтерна“.

Роберт Б. Деннис, преподаватель Северо-западного университета, активный работник Ассоциации христианской молодежи, человек, не скрывающий своей ненависти к большевикам, рассказывая о митинге в чикагском „Колизее“, должен был меланхолически признаться, что желающих попасть в зал было столько, что Хейвуд организовал около „Колизея“ второй митинг на улице. Ораторы, отговорив в зале, выходили на улицу и повторяли свои речи толпе. „Колизей“ вмещает десять тысяч человек. На митинге выступали с правдой о большевиках Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, только что вернувшиеся из России.

— Там, в „Колизее“,— рассказываеет Деннис, — было известное количество просто наблюдателей, вроде меня, и довольно много правительственных агентов; однако при первом же упоминании имени Ленина толпа начала бурно аплодировать. Там был американский рабочий лет около пятидесяти, хорошо одетый, повидимому квалифицированный рабочий. Никогда я не видел большой ненависти, чем та, которую питал этот человек к капиталистическому классу...

Бедный Деннис! Он никогда не видел такой ненависти... Откуда Деннису можно было увидеть эту ненависть? Деннис всю свою жизнь не выходил дальше людской особняков на Уолстрите. Первое же знакомство с рабочим классом опечалило „христианского юношу“.

На Уолстрите однако живут более проницательные и спокойные люди, нежели их сентиментальные холуи. Уолстрит почуял в портлендских портовиках, в чикагских рабочих боен, в филадельфийских металлистах тревожные колебания.

Архив адмирала Колчака проливает свет на черные дела опричников американского капитала. В архиве лежат перевязанные бечевкой телеграммы Угета, поверенного в делах в Вашингтоне, к Вологодскому, министру иностранных дел Колчаковского правительства.

Вот телеграмма от 25 марта 1919 г. за № 294:

„В последних своих телеграммах я неоднократно отмечал рост большевизма в Америке. Общественное мнение этим очень встревожено и готово вести с большевиками серьезную борьбу, поскольку вопрос касается самих САСШ. Митинг в Вашингтоне, устроенный американцами, вернувшимися из Европейской России,

симпатизирующими большевикам, вызвал единодушное решение сената начать расследование о большевизме через комиссию Овермена. Некоторые штаты, например Нью-Йорк, ассигнуют значительные средства для борьбы с большевизмом".

В телеграме № 592 сообщается, что „сегодня сенатором Кингом вносится резолюция о высылке Мартенса с приспешниками, о признании Омского правительства и оказании ему финансовой помощи".

Военный агент в Вашингтоне, полковник Николаев, запыхавшись извещает, что в Омск выезжает в качестве американского посла Моррис. Морриса надо обработать, а через него повлиять на „общественное мнение" Америки.

„Весьма полезно, — телеграфирует Николаев, — приготовить серьезные материалы о зверствах большевиков и направить к Моррису делегацию от надежных общественных групп, духовенства и крестьянства. Чем внушительнее будут они представлены, тем для нас будет лучше".

Николаев понимает, что необходимо влить какую-то новую, свежую кровь в склерозные артерии интервентов. Американские, английские, французские рабочие отказываются грузить пароходы, идущие на помощь интервентам. Андрэ Марти легко разлагает французский флот в Одессе В самой Америке многие газеты открыто говорят, что „американцы едут в Сибирь не для работы и помощи русскому населению, а для быстрого обогащения и легкой наживы. Пароходы фрахтуются один за другим в Ном и Анадырь. Большею частью это — подонки американского общества, неудачные дельцы, прогоревшие содержатели притонов, сыщики, пьяницы, старые золотоискатели с уголовным прошлым. Циркулируют упорные слухи, что американские солдаты, возвращаясь из Сибири, провозят в своих мешках намытое в Сибири золото, кто на три, кто на пятнадцать тысяч долларов".

Именно такую вырезку из американской газеты прислал в Омск генеральный консул Колчака в Сиатло, Н. Богоявленский, при отношении № 671.

Английские и американские солдаты в Архангельске далеки от проявления воинской доблести, а больше занимаются покупкой мехов, мамонтовой кости и легким грабежом крестьян.

Радио советского правительства облетает весь земной шар, сея смуту в умы.

Тогда-то и выходит на авансцену прославленная Америка, страна рекордных чисел, неусыпный страж и защитник мировой цивилизации, мудрый и неподкупный судья.

Сенатор Овермен получает выписку из решения сената об организации комиссии для расследования большевистской пропаганды в Америке.

Сенатор отлично понимает, что именно надо прочесть между строк этого решения. Сенатор читает: надо выставить большевиков немецкими агентами, варварами, бандитами, кровожадными зверями. Надо представить Красную гвардию и Красную армию как скопище латышей, китайцев и беглых каторжников. Надо, чтобы волосы шевелились на голове и рука тянулась к винтовке для борьбы за освобождение человечества от опасности варварского большевизма. Надо, чтобы рабочие в ужасе отвернулись от большевиков, чтобы солдаты поверили, что они дерутся за цивилизацию и культуру против немецких наймитов и уголовных преступников, захвативших целую страну и пьющих кровь из ее народа.

Сенатор Овермен отлично читает все это между строк. От себя он добавляет: — и сделать все это устами достоверных свидетелей, побывавших в большевистской России и видевших большевиков за работой. Нельзя не поверить людям, видевшим все это своими глазами. А могучая пресса Америки разнесет показания свидетелей по всему миру с быстротой и техническим совершенством, свойственным американской культуре...

Так начался в Вашингтоне суд над Октябрьской революцией.

Таких судов было немного за всю историю человечества. Их можно пересчитать по пальцам. 1) Инквизиторы судят Галилея. 2) Епископ Лозаннский судит личинок майского жука и присуждает их к немедленному изгнанию

... Саймонс—болтливый и желчный старик в старомодном платьи.

из Бернского кантона. 3) Сенатор Овермен судит Октябрьскую революцию и 4) Брайан судит Дарвина.

Высокая честь — из четырех мировых процессов два падают на долю рекордной Америки.

Сто пятнадцать печатных листов стенограмм осталось потомству в назидание об этом процессе. Сто пятнадцать печатных листов — это произведение, в три раза большее, чем „Война и мир".

Сейчас, на пороге пятнадцатой годовщины Октябрьской революции, в разгар социалистического строительства, перед лицом оживленной возни интервентов, в угаре подготовки новой войны и интервенции против страны Советов, запыленные архивы американского сената вновь перетрясаются всеми бульварными газетишками мира.

Достаточно беглого просмотра пятнадцати печатных листов гнусного вранья, чтобы с чувством законного юмора безошибочно установить партитуру, по которой разыгрываются баллады о принудительном труде, о зверствах, голоде и восстаниях, о бедственном положении рабочего класса и насилиях над интеллигенцией, якобы раздирающих Советскую Россию.

Поистине бессмертен Овермен, оставивший такое высокое произведение искусства!

Итак, суд идет.

Первым подходит к судейскому столу А. Саймонс, бывший настоятель методистской епископальной церкви в Петербурге.

За столом — сенаторы Овермен, Кинг, Уолкот, Нельсон, Стерминг и майор Юмс.

Саймонс — болтливый и желчный старик в старомодном платьи.

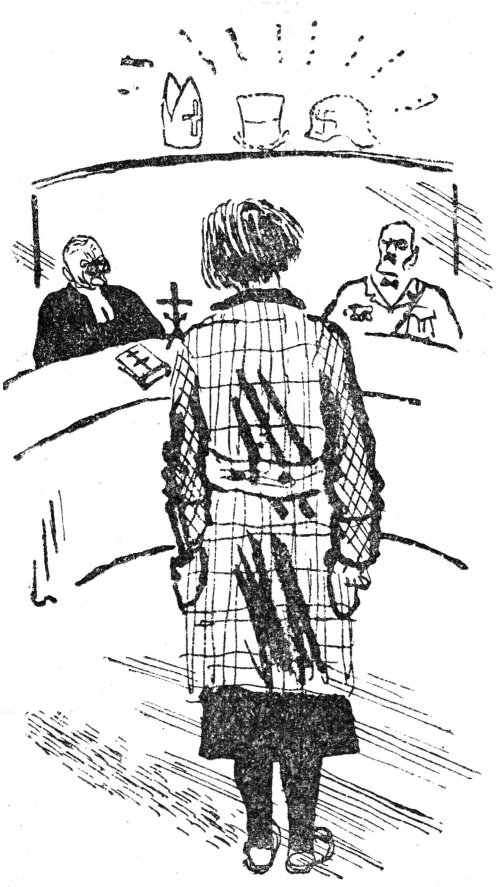
— Я — христианский социалист, — говорит он, через очки осматривая судей. — Но только постольку, поскольку таковым является каждый христианин, считающий своим идеалом новый завет, близкий по своему миросозерцанию к Чарльзу Кингслею и Моррису, верящий не в революционный, а в эволюционный социализм, принимающий за идеал нагорную проповедь Христа и тридцатую главу первого послания к коринфянам.

Судьи довольны: этот не подведет.

Затем следуют два джентльмена из Ассоциации христианской молодежи: Р. Б. Деннис и Р. Ф. Леонард. Оба побывали в России, вдохновляя христианским словом русских солдат. Сенаторы знают цену подобным молодым людям и не проявляют признаков беспокойства.

Бабушку русской контрреволюции Екатерину Брешко-Брешковскую встречают широкие и радостные улыбки сенаторов. Какая сенсация! Старушка, тридцать лет проведшая в дебрях каторжной Сибири, могучий революционер и беспощаднейший враг царя — и вдруг отборные проклятия по адресу большевиков!

А вдруг проклятий не будет? Ведь старушка — революционер, как и большевики?



... Сенаторы улыбаются старушке и кивают ей головами.

Как это не будет проклятий? Будут. Ведь не даром же колчаковский посол в Америке Угет телеграфировал за № 471 министру иностранных дел Колчака:

„Выступления Брешко-Брешковской носят ярко-антибольшевистский характер; ее работа в этом направлении находится в полном контакте с нами. Ее речи для антибольшевистского движения в Америке дала громадный результат".

Сенаторам все это отлично известно, и сенаторы улыбаются старушке и кивают ей головами.

Следующий — Роджер Э. Симмонс, торговый комиссионер. Мистер Роджер помчался в Россию в славные времена Керенского, окрыленный надеждами на легкий и достаточно обильный заработок: он приезжал „для исследования лесопромышленности и пригодных для эксплоатации лесов в России, в связи с делом восстановления разрушенных областей в Европе". Комбинация пахла большими комиссионными. У Роджера Симмонса не было никаких оснований благословлять большевиков, похеривших своей революцией всю эту затею.

После Симмонса продефилировал перед судом человек, скрывающийся в стенограммах под тремя звездочками.

Аноним, так сказать. Эти пресловутые три звездочки имели в Петрограде какое-то небольшое предприятие с шестьюдесятью рабочими, по двадцать человек на звездочку. После революции рабочие забастовали и звездочки занялись другим делом.

— Понимая, какое важное значение имеет вопрос о выпрямлении русской идеологии, — рассказывают три звездочки, — полковник Томпсон вместе со мной выработал программу, согласно которой предполагалось тратить на это дело по три миллиона долларов в месяц, в течение восьми месяцев. Мы предполагали захватить в свои руки бумажный рынок в России и уничтожить большевистскую прессу.

Свидетель, как видите, надежный. Этот тоже не подгадит.

Федор Криштофович, шестидесятилетний старец, служивший в царском министерстве земледелия, разоренный Октябрьской революцией, саботировавший в первые месяцы советской власти и потом бежавший заграницу, — следующий беспристрастный свидетель.

Шествие замыкают Раймонд Робинс — правая рука полковника Томпсона, о котором рассказывал неизвестный свидетель, говоря о плане захвата бумажного рынка России, и бывший посол в России Давид Френсис.

Это — первая группа свидетелей. О второй речь будет ниже.

Саймонс повествует суду;

— При Керенском на фронте были сотни агитаторов, последовавших за Троцким-Бронштейном. Они ранее жили в нижней части Ист-Сайда в Нью-Йорке[1]. Вскоре выяснилось с

[1] Ист-Сайд — еврейский квартал Нью-Йорка. Здесь живет главным образом еврейская беднота.

очевидностью, что больше половины этих агитаторов в так называемом большевистском движении были жиды. Я твердо убежден, что эта революция — дело жидовских рук, и один из источников ее следует искать в нью-иоркском Ист-Сайде.

Сенаторы потирают руки: — Так-с, отлично. Дело жидовских рук. Ну, а партия?

Сенатор Нельсон задает коварный вопрос:

— Приняли ли большевики в свою шайку прежних нигилистов?

Догадливый Саймонс отвечает:

— Они приняли бы даже монархиста, если бы монархист сказал: „Я помогу вам совершить нападение на такое-то учреждение".

Показания начинают принимать должный оборот. Ободряемый поддакиванием сенаторов, Саймонс закусил удила:

— Воздух был насыщен самым дьявольским террором, какой когда-либо пришлось испытать культурному человеку, — выкрикивает он. — У меня создалось впечатление, что в большевистском правительстве значительно представлен преступный элемент.

Он неоднократно был свидетелем жутких зверств и даже сам подвергался страшным притеснениям. Однажды он видел в окно, как против самого его дома красногвардейцы застрелили двух воров. Потом к нему ночью лезли воры, которых спугнул швейцар. Воры бесспорно были большевистские комиссары. Наконец за двух английских фокс-терьеров до большевиков он платил три рубля собачьего налога, а при большевиках пришлось платить по пятьдесят девять рублей за каждого.

— Нам известно, как факт, — продолжает с жаром Саймонс, — что некоторые из самых опасных преступников заняли видное положение среди большевиков.

— А те, которые не возвысились до такого положения? — интересуется сенатор Кинг.

— Служили агитаторами. Кроме того, опираясь на свою связь с большевиками и пользуясь их покровительством, они выходили и грабили дома.

. Свидетель, как видите, надежный. Этот тоже не подгадит.

Точно на скачках один перед другим стараются „благородные свидетели".

Дико и смешно читать сейчас эти страницы.

Тринадцать лет тому назад это не было смешным. Россия была отрезана от всего мира. Океаны клеветы бушевали, не зная никаких законов здравого смысла и порядочности. В потоках самого разнузданного вранья легко мог захлебнуться даже очень скептически настроенный человек.

Саймонсы делали свое черное дело унтер-офицеров капитализма с толком, с чувством, с расстановкой.

— Наши войска (речь идет об интервенции в Архангельске. С. Б.) — декламирует Саймонс, — борются, чтобы защитить эту страну от большевизма, то есть от наглого бандитизма, который мы здесь уже сегодня описали. Это, думается мне, совершенно гуманная и законная борьба, столь же законная, как борьба против милитаризма Германии. Я был удивлен, возвратившись домой, когда услышал громкие требования об ото-

звании наших отрядов из северной России. Но ведь каждый раз, когда нам приходится уступать врагу хотя бы один дюйм земли, происходит резня всех мужчин, женщин и детей во вновь занятой большевиками области. Отозвать всех солдат — значит вызвать величайшую бойню, и кровь эта пала бы на голову САСШ и союзников. Я сообщил об этих фактах на митинге в Мичигане, и один человек, услышавший мой рассказ, сказал: — „Господа, раньше я требовал отозвания наших частей из России. Там у меня брат. Но если он сражается против такого движения, то я желаю, чтобы он еще там оставался".

Газеты всего мира подхватывали и печатали эти показания почтенных свидетелей комиссии американского сената. Солдаты читали эти газеты. Рабочие читали эти газеты. Их читали крестьяне. Весь мир читал рассказы Денниса о том, что на большевистских митингах красноармейцы расстреливают на месте голосующих против; сообщение Криштофовича, лично видевшего в Петрограде декрет, который запрещал родственникам хоронить своих покойников; категорическое утверждение Р. Э. Симмонса об организации систематического грабежа под начальством большевистских вождей.

— Я не раз слышал, — рассказывал Р. Э. Симмонс, — что людей принуждали рыть могилы для друзей и людей их собственного класса, а нередко и собственные могилы.

Сенатор Овермен. Как? Рыть свои собственные могилы?

Симмонс. Да, сенатор. Они ходили повсюду и грабили дома и квартиры.

В одну точку, точно в тире, колотят самые чудовищные, самые фантастические, бредовые измышления: дискредитировать советскую власть, партию большевиков, Красную армию.

Саймонс передает такой, например, рассказ одной своей знакомой:

— Я имела возможность, будучи преподавательницей Смольного, посетить некоторые комнаты в здании, занятом теперь так называемым большевистским правительством. Я собственными глазами видела германских офицеров, сидевших за длинным столом вместе с вождями большевистского правительства. Я слышала немецкую речь. Несколько раз я замечала на столе немецкие документы с германскими печатями.

Деннис, сам якобы бывший в Ростове, утверждает, что „Ростов был взят Красной армией под командой германских офицеров".

Неизвестный враль, фигурирующий под конспиративными тремя звездочками, сочиняет еще более потрясающую версию.

— Мистер Сиссон, — говорит он, — приобрел таинственными путями документы, которые я случайно прочел в оригинале 4 марта. При их чтении у меня не было и тени сомнения, что это — оригиналы. То были документы, циркулировавшие между различными ведомствами большевистского правительства и касавшиеся главным образом предписаний, данных германцами большевикам и выполненных последними. Все эти документы касаются германских мероприятий и большевистско-германских операций.

Сенатор Нельсон. Значит существовало сотрудничество между германцами и большевиками,—вернее, их вождями?

— Да.

Нельсон. Что сделал мистер Сиссон с этими документами?

— Он вывез их из России. Это по-моему одно из наиболее замечательных дел, совершенных нашей секретной службой!

И вот наконец открывает рот „бабушка русской революции". Устами этой старушки говорит партия так называемых социалистов-революционеров. Лучшей эпитафии, чем речь лидера этой „партии", нельзя и придумать. Контрреволюционная, предательская морда мелкобуржуазной стихии ухмыляется со страниц стенограммы, посвященных показаниям Брешковской.

Сенатор Овермен. Существует ли у вас теперь свобода?

Брешковская. Вероятно вы знаете, сэр, что несколько лет назад германское правительство послало своих шпионов в Россию и подготовило войну. Когда наступила революция, принесшая с собой свободу, и Россия была близка к тому, чтобы получить Учредительное собрание, из Германии прибыли Ленин и Троцкий и с помощью немецкого золота наводнили Россию своей пропагандой. Все, кто служил нашим тиранам в России, — старый класс бюрократов, жандармы, все люди старого режима — стали большевиками и предприняли широкую кампанию в целях низвержения правительства Керенского. После Октября 1917 года, когда правительство Керенского было свергнуто, мы попали под власть двух жандармов — Ленина и Троцкиго. Ленин сам говорил: „Наши усилия ни к чему не приведут. После большевиков будет другой царь. Но по крайней мере в России после нас останется легенда". Все крестьяне до такой степени измучены большевизмом, что только и молят: „Ах, если бы пришли какие-нибудь добрые люди и освободили нас!"

Вы представляете себе это буколическое зрелище: измученные большевизмом крестьяне, терпеливо ожидающие прихода „добрых людей"?! Вы представляете себе Ленина, говорящего о том, что после большевиков, как ни верти, а будет новый царь? Вы представляете себе партию большевиков, в которую вошли целиком корпус жандармов, чиновники всех четырнадцати классов, обе гильдии купечества, охранное отделение и акцизное управление?! Все это, оказывается, было сделано для того, чтобы победить эсеров!

Нельсон. Думаете ли вы, что Ленин и Троцкий были агентами Германии?

Брешковская. Я не думаю, я уверена в этом.

Нельсон. Думаете ли вы, что они получали германские деньги?

Брешковская. Да.

Нельсон. Хуже ли власть Ленина и Троцкого для русского народа, чем даже дурная власть царя?

Брешковская. Что за вопрос, сэр! Я например готова страдать двадцать лет, только бы не иметь царя; но простой народ, трудящийся ради куска хлеба, несомненно предпочтет царя Троцкому и Ленину.

Сенатор Стерлинг. Имеете ли вы, сударыня, представление о том, сколько людей было убито большевиками?

Брешковская. Говорят, что война против немцев унесла только половину того количества, которое убито теперь. Большевики убили вдвое больше людей, чем погибло во время войны. Бывали случаи, когда они расстреливали тысячи людей одновременно.

„У нас нет флота, нет фабрик, нет ружей, нет транспорта. Все то, что мы имели, большевики продали немцам. Таким образом все наши национальные богатства, наши лучшие произведения искусства и другие ценности перешли к Германии...

„Я писала вашему посольству в России, что, если бы вы оказали нам поддержку (в виде пятидесяти тысяч хороших солдат вашей армии), большевики были бы свергнуты..."

Так полоумная старушка, именующая себя „бабушкой русской революции", декламировала перед синклитом интервентов сказки братьев Керенского — Милюкова о пролетарской революции в России.

Зрелище, достойное широкой популяризации.

Итак, при помощи юношей из Ассоциации христианской молодежи, при помощи старичков-эмигрантов, настоятелей епископальной церкви, агентов секретной службы и эсеровских старух доказано, что большевики — звери, бандиты, уголовные преступники, агенты немецкого империализма.

Сенатор Кинг уточняет вопрос о Красной армии:

— Латыши составляли от двадцати пяти до тридцати процентов большевистской армии, китайцы — пятьдесят-шестьдесят тысяч и уголовные преступники — около ста тысяч?

— Я думаю, вы определили вполне правильно, — подтверждает „свидетель" Саймонс.

Так. Теперь оставалось только выяснить моральный облик большевиков. „Свидетели“ и по этому вопросу представили не менее „достоверный“ и полный материал.

Саймонс, захлебываясь, рассказал, что большевики поместили в одном из коридоров Смольного институток вместе с матросами и солдатами. Сенатор Кинг обрадованно спросил:

— Значит бедные девочки были предоставлены грубой похоти красногвардейцев?

— Вы сами можете сделать необходимый вывод, — опустив глаза, произнес Саймонс. — Они — самые грязные собаки, с которыми я когда-либо сталкивался за все сорок пять лет моей жизни. Они настолько гнусны, что я не могу найти достаточно слов, чтобы выразить мои чувства.

Кинг. Итак, говоря прямо, большевистские красноармейцы и самцы-большевики похищают, насилуют и растлевают женщин сколько хотят?

Саймонс. Конечно, они это делают.

Рекорд все же был поставлен „свидетелем“ Симмонсом. Он зачитал перед сенаторами два „советских документа“. Первый — декрет, опубликованный в „Известиях“. Второй — декрет Саратовского совета. В обоих декретах объявляется национализация женщин. В этих грубых и смехотворных фальшивках все предусмотрено с похвальной скрупулезностью.

„Девица, достигшая восемнадцати лет и не вышедшая замуж, объявляется собственностью государства. Зарегистрировавшись в бюро свободной любви, она имеет право выбрать среди мужчин от девятнадцати до пятидесяти лет мужа-сожителя (в примечании сказано, что „согласия мужчины при этом выборе не требуется“). Точно также мужчинам предоставляется право выбора среди девушек, достигших восемнадцати лет. Право выбора мужа или жены предоставляется один раз в месяц“.

Мутная волна антисоветской травли захлестнула Америку. Газеты наперебой печатали показания „свидетелей“ большевистских зверств, представших перед комиссией сенатора Овермена. Уолстрит делал свое дело. Общественное мнение обрабатывалось с размахом и настойчивостью, невиданными даже в Америке. Интервенция выростала до священной войны с варварами и разрушителями цивилизации. Всякий голос протеста механически становился агентом бандитов-большевиков. И все же в Америке нашлось достаточно мужественных рабочих. Сотни митингов прошли по Соединенным штатам. Вашингтон осаждался тысячами резолюций протеста против грубого и циничного раздувания новой войны с Советской Россией. Резолюции требовали вызова в комиссию другой группы свидетелей, бывших в России, непосредственно наблюдавших большевистскую революцию.

— Спросите Джона Рида!

— Спросите Луизу Брайент!

— Вызовите Альберта Риса Вильямса!

Напор был так силен, что Овермен был принужден вызвать и этих свидетелей.

Это были скандальные дни работы комиссии. Показания Луизы Брайент достойны того, чтобы на них остановиться. Это был блестящий турнир тупых и озлобленных сенаторов с мужественной и остроумной женщиной.

Заседание 20 февраля выглядит почти как рассказ Марка Твена. Луизу Брайент приводят к присяге.

Овермен. Мисс Брайент, верите ли вы в бога и святость присяги?

Брайент. Конечно, я верю в святость присяги.

Кинг. Верите ли вы, что существует бог?

Брайент. Я думаю, что бог существует, но не в состоянии проверить это.

Нельсон. Верите ли вы в христианскую религию?

Брайент. Конечно, нет. Я нахожу, что все люди могут исповедывать всякую религию, какую бы они ни пожелали, потому что это одна из тех вещей...

Нельсон. Значит вы — не христианка?

Брайент. Я была крещена в лоне католической церкви.

Нельсон. Вы не верите в Христа?

Брайент. Я не сказала, что не верю в Христа.

Нельсон. Но верите ли вы в Христа?

Брайент. Я верю в учение Христа, сенатор Нельсон.

Овермен. Верите ли вы в бога?

Брайент. Да, я готова признать, что верю в бога.

Уолкот. Верите ли вы в наказание на том свете и в воздаяние по заслугам?

Брайент. У меня такое впечатление, будто меня судят за колдовство. Ладно, я готова согласиться, что существует ад.

Уолкот. Я вас об этом не спрашивал.

Брайент. Или что существует загробная жизнь.

Ни один свидетель не подвергался таким схоластическим пыткам. Сенаторы приложили все старания, чтобы дискредитировать Луизу Брайент и представить ее как безбожницу, не заслуживающую никакого уважения. Фокус не удался. Брайент согласилась со всеми вопросами религиозно-нравственного порядка.

Ее рассказ об Октябрьской революции и большевиках неоднократно прерывался громкими овациями переполненного зала. Когда стало очевидно, что симпатии собравшихся на стороне настоящей правды о России и что эта находчивая женщина может испортить всю стряпню вралей и лжесвидетелей, поднялся взволнованный Уолкот.

— Я прикажу очистить помещение, воскликнул он. — Публике, упорно продолжающей аплодировать, предлагается оставить помещение.

Брайент. Я прошу, чтобы публике было разрешено остаться...

Овермен. Я приказываю им покинуть помещение!

Брайент. Ведь я пока что — единственный свидетель другой стороны, единственный свидетель, который желал бы, чтобы наладились дружественные отношения между Америкой и Россией.

Публику все-таки вывели.

Одну за другой разбивает Брайент фантастические легенды о России. Знаменитый декрет о национализации женщин оказывается перепутанным фельетончиком из юмористического журнала „Муха"; Брайент рассказывает о взятии Зимнего дворца как очевидец, бывший при этом; она повествует о величайшей скромности и почти аскетическом образе жизни вождей революции, которых она знала лично и у которых бывала и дома и в рабочих кабинетах; она рассказывает, как рабочие управляют фабриками и заводами, а крестьяне делят помещичьи земли; она отрицает зверства большевиков, — она их не видела; она говорит о равноправии женщины в России, о суровых судах, карающих без пощады за мародерство, грабежи и даже кражу; она говорит о свободе вероисповеданий и тщательно растолковывает сенаторам принципы построения государственной власти в Советской России.

Сенатор Юмс, не без нервозного яда, осведомляется тогда, — почему же рассказы мисс Брайент так кардинально расходятся с тем, что говорила здесь социалистка. старая революционерка и всеми уважаемая лэди Брешковская.

— Она прибыла сюда и сказала, что народ умирает там с голоду, — добавляет сенатор Овермен.

Брайент. Не думаю, чтобы она это знала.

Овермен. И она говорит, что народ молит нас о помощи.

Брайент. Я думаю, что она — старая женщина с великим прошлым и жалким настоящим.

Нельсон. Думаете ли вы, что после двадцатилетнего пребывания в Сибири...

Брайент. Думаю, что и я бы свихнулась... Мне хотелось бы рассказать вам один эпизод с Чичериным, комиссаром иностранных дел. В то время как Брешко-Брешковская скрывалась в Москве, туда прибыл из Нью-Йорка один еврейский журналист. Первое, что он сказал Чичерину, было: „Можете ли вы мне указать, где находится Брешковская? В Америке рас-

пространяют слухи, будто она убита". Чичерин ответил: „Она живет в конце улицы, очень недалеко отсюда. Но не говорите, что мы это знаем, чтобы не огорчать старую лэди. Она воображает, что мы хотим ее убить, и будет гораздо спокойнее, если будет предполагать, что мы не знаем, где она живет. Если она захочет покинуть Россию, мы закроем на это глаза..."

Джон Рид и Альберт Рис Вильямс (автор книги „Народные массы в русской революции") долго рассказывали сенаторам правду о пролетарской революции. Поверить этой правде и этим свидетелям? Это значит свести к нулю так тщательно подготовленную и старательно разыгранную комедию суда над Октябрьской революцией.

Революция была осуждена.

Борьба с большевиками была объявлена священной борьбой „цивилизованного человечества" с шайкой преступников и развратников, угнетающих сто с лишним миллионов рабочих и крестьян России.

История показала, на чьей стороне все время были эти рабочие и крестьяне. История так же беспощадно вскрыла истинные мотивы интервенции. Мы уже приводили интимные записи из дневника колчаковского министра Пепеляева относительно восстановления монархии в России. Мы уже цитировали американские газеты, с болью в сердце рассказывающие об истинных побуждениях американцев на Дальнем Востоке. Теперь нелишне будет сказать несколько слов о „гуманных освободительных целях" интервентов на Севере, в Архангельске.

Одни только англичане за время своего владычества вывезли из Архангельска по далеко не полным сведениям, без учета контрабандного вывоза, льна, леса, пушнины, смолы и пр. на пятьдесят миллионов сто сорок четыре тысячи рублей. 7 июня 1919 года известный полярный исследователь англичанин Шекльтон успешно заключил с русскими белогвардейскими властями на Севере концессионный договор. По этому договору акционерному обществу во главе с Шекльтоном передавались в концессию на девяносто девять лет Александровский и Кемский районы. Общество получало преимущественное право на монопольное исследование богатств недр, постройку набережных и доков, закрепление за обществом всех минеральных месторождений, постройку железных дорог, приобретение лесопильных заводов и т. д. Короче говоря, районы эти становились почти колонией английского капитала.

Не дремали и французы. 20 декабря 1918 года Ермолов, белогвардейский помощник генерал-губернатора Северной области, выдал Нулансу удостоверение с указанием на то, что правительство согласно предоставить Франции в долгосрочное арендное пользование на девяносто девять лет часть берега Кольского залива и некоторые другие районы Мурманского края.

Так разбазаривалась Россия под журчание речей о спасении цивилизации и освобождение русского народа от ига большевиков. Так закабалялась Россия и подготовлялась реставрация капитализма в то время, как американские сенаторы кропотливо вымотывали из завравшихся шпионов, перебежчиков и разорившихся дельцов длинные и унылые легенды „свидетельских показаний".

Мы знаем другие свидетельские показания. Аппараты Шорина передавали их во всех кинематографах Советского Союза. Мы знаем другие процессы, где „восстанавливали истину" не темные личности, скрывающиеся под тремя звездочками, а сами „обер-офицеры капитализма" (так назвал себя вредитель Калганов) рассказывали о своих черных делах.

Нет надобности ковыряться в ста пятнадцати печатных листах. Достаточно привести три справки.

Шахтинский процесс. Показания Калганова:

— Главнейшими задачами организации были: 1) сохранение в неприкосновенном виде более ценных недр и машин для эксплоатации в дальнейшем прежними владельцами или концес-

сиями, 2) доведение рудничного хозяйства Донбасса до такого состояния, при котором советское правительство было бы вынуждено сдать рудники в концессию иностранцам или вообще капитулировать перед иностранным капиталом, 3) в случае войны помогать врагам СССР расстройством тыла, 4) пропаганда против советской власти.

Процесс „промпартии". Показания Федотова:

— Представители Торгпрома — Рябушинский, Третьяков, Лианозов — были у Пуанкарэ. Пуанкарэ выразил готовность серьезно рассмотреть этот вопрос и передал его на изучение генерального штаба. Практически интервенция предполагалась главным образом силами Польши, Румынии, Эстонии и Латвии, с небольшим участием французских войск и флота, под руководством французского штаба и офицеров.

А Калинников добавил:

— При французском штабе была создана международная комиссия под председательством генерала Жанена, в составе представителей Франции, Англии и Польши по поводу распределения ролей в руководстве и проведении русской интервенции. Этой комиссией было принято, что руководство проведением интервенции берет на себя Франция, она же будет вести заготовку и поставку боевых снаряжений и вооружений интервенирующих армий. Оперативную подготовку и роль застрельщика берет на себя Польша.

Так тянется прямая нить от фарса суда над советской властью к суду советской власти над капитализмом.

В свете этого последнего суда окончательно разоблачаются смехотворные декламации о каких бы то ни было „моральных", „культурных" и прочих мотивах крестового похода против СССР.

Пятнадцать лет мечтают отечественные капиталисты, которых вышвырнула Октябрьская революция за пределы нашей страны, и иностранные капиталисты, у которых та же революция отняла барыши и дивиденды, вернуться в Россию и снова осесть хозяевами земли русской. День и ночь, в три смены, на непрерывке работают капиталистические фабрики лжи, с единственной целью — дискредитировать Советский Союз в глазах трудящихся масс Запада и идейно подготовить новую войну и интервенцию.

От бессмертного сенатора Овермена до репортеришки „Дейли-мейль", от незнакомца, сменившего свое имя на три звездочки, до Константина Маймука — палача Бессарабии, снабжающего французскую печать „правдой об СССР", — прямая линия разбойничьих традиций.

Марсель Кашен 2 апреля 1932 года выступил во французском парламенте. Тов. Кашен сказал:

— Огромное облако ядовитых газов отравляет общественное мнение. Подложные фотографии, фальшивые свидетельства — все это используется печатью. Писаки, находящиеся на жаловании у румынской полиции, наполняют газеты своими выдумками. Вчера писали, что „несчастные советские трудящиеся умирают от голода". Сегодня выдумывают „зверства на Днестре" и наполняют газеты лживыми баснями о „варварстве" красноармейцев.

„Эти чудовищные вымыслы сопровождаются комментариями, тенденция которых совершенно очевидна. Инициаторы кампании хотят создать атмосферу всеобщей ненависти против СССС, подготовляют общественное мнение к войне. Подготовка умов к антисоветской войне является сущностью всей внешней политики крупных империалистических государств".

История повторяется.

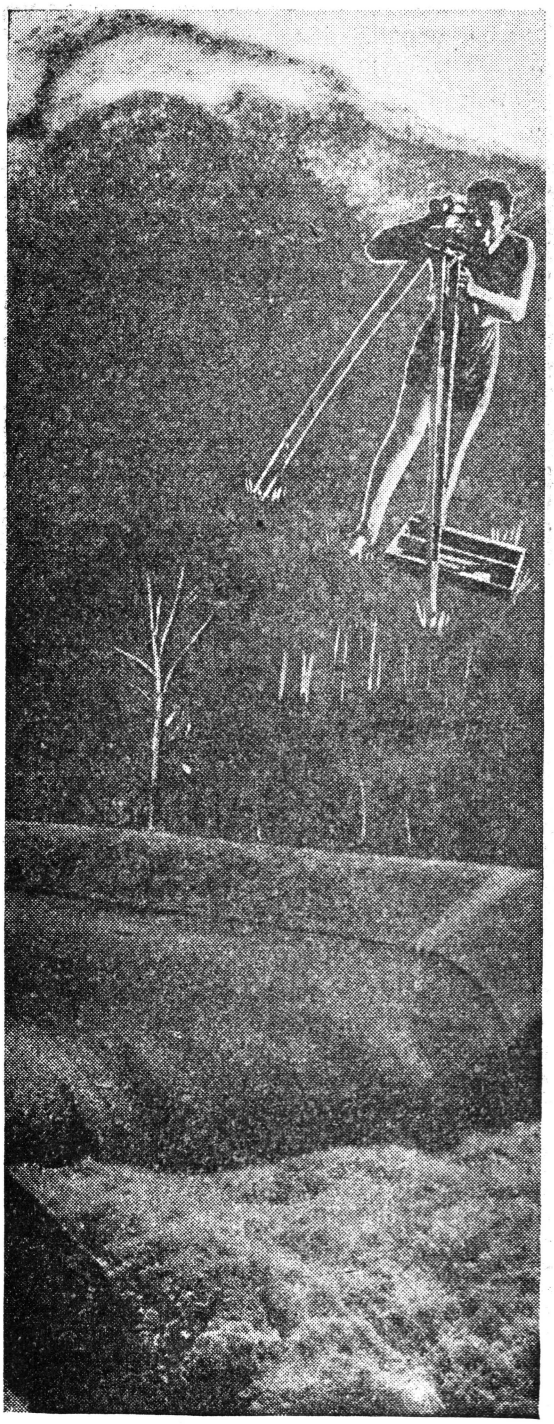
Но, увы, от 1919 года нас отделяют 13 лет. Мы не хотим войны, мы всячески избегаем войны и не раз доказали свое истинное миролюбие.

Но мы войны не боимся.

Это вам не девятнадцатый год!

КОМБИНАТ

Н. СТАРОВ Оформление А. ВАСИЛЬЕВА



Где были зарыты сокровища

За триста километров вверх от Перми, на севере Урала, в хвойной тайге стоят города Усолье, Соликамск, Чердынь.

По полтысяче лет этим городам, мхом древности покрылись они.

Заложили их казаки Ермака, посланные царем Иваном Грозным покорять Сибирь.

Казаки шли на стругах водным путем из Волги в Каму, из Камы в Печору, в Вишеру — и дальше. Выполняя царский приказ, они грабили туземцев, забирали с них ясак — дань: меха, скот, золото, намытое в горных ручьях. Туземцы сопротивлялись. Они встречали непрошеных гостей ненавистью и тучами стрел.

Казаки валили вековые сосны и огораживали свои стоянки деревянными тынами-городами — огорожами. Тын защищал казацкие тела от стрел, а их отдых после грабежа — от справедливой мести ограбленных.

Проходили годы, масштабы грабежа увеличивались. Росли и ширились „огорожи". Все бо́льшие и бо́льшие богатства стекались сюда со всего края. Деревянные тыны сменились каменными. Каменные терема внутри их строили себе воеводы и купцы, снабжавшие казацкие рати оружием, забиравшие у них награбленные сокровища и сплавлявшие их по Каме — вниз, по Волге — вверх, — в Московию.

Вырастали в городах крытые торговые ряды, тюрьмы, кабаки, со́боры и монастыри. Сводчатые, пузатые, раскрашенные сусальной позолотой и яркими красками, они заполнили города паутиной вычурных крестов, гнусавым колокольным перезвоном. Вместе с тюрьмой, кабаком и застенком, они держали в повиновении царских и купецких рабов.

Этих рабов — казаков и туземцев — приспособили купцы и воеводы, когда нечего уже стало грабить, к добыче соли.

Соль добывали так:

В земле долбили скважину. Доходили до подпочвенной соленой воды, выкачивали ее оттуда конными воротами, наливали в чугунный чан и разводили внизу огонь. Вода испарялась, а соль оседала кристаллами на дне чана.

Соляная промышленность в средние века была самым выгодным делом после грабежа беззащитных туземцев. Соляных месторождений было мало. Добыча соли, благодаря рабскому труду, стоила дешево, а продать ее за отсут-

ствием конкуренции можно было по любой цене; и купцы Строгановы, обладавшие в то время единственными в России соляными месторождениями на Каме в Усолье, Чердыни и Соликамске, пользовались этим.

Купцам Строгановым за их помощь полчищам Ермака царь Иван Грозный подарил этот край. Купцы Строгановы, ставшие впоследствии графами, основоположники местного капитализма, были ленивы и тяжелы на подъем. Человеческий труд был дешев, и не пытались Строгановы заменить этот тяжелый труд машиной, рационализировать его. Те же самые амбары, чаны, насосы и трубы, те же самые доисторические методы на соляных варницах прошли через века почти нетронутыми, почти неизмененными. Насквозь пропитанные соляными рассолами, эти мумии средневековой промышленности стоят здесь и посейчас, как позорные памятники дикому русскому капитализму.

Но Строгановы не чувствовали позора. Обалдевшие от безделья и жадности, они были заняты розыском кладов.

По древним преданиям клады эти прятали казачьи воеводы в подземных галлереях соликамских монастырей. Кованые расписные лари, наполненные желтым жиром самородного золота, не давали барам спокойно спать.

Клады искали долго и упорно — с молебнами, с заклинаниями, с чертовщиной. Копать выгоняли рабочих в полночь. На место раскопок бросали дохлых кошек, окропленных иерусалимской водичкой, чтобы нечистый не унес незаметно сокровища, молились и колдовали.

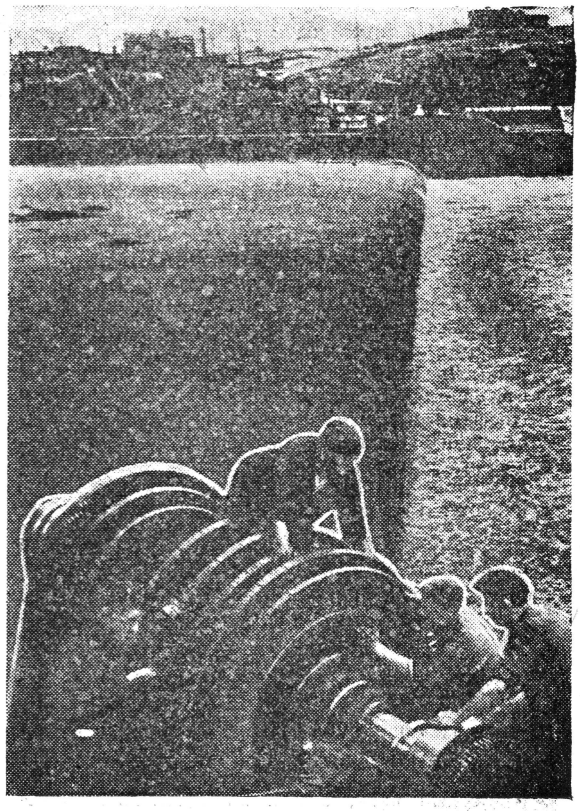
Но увы, — ни молебны, ни дохлые кошки ни иерусалимская водичка не помогли титулованным кретинам. Клады нашли не они. Другие люди, очистившие страну от всей этой мрази, стали их обладателями. Клады отыскали большевики. Но не в заплесневелых подземельях сусальных церквей, не в сгнивших ларях были спрятаны сокровища, — в каменных сундуках горных пород заперла их сама природа.

Геологические разведки показали, что подпочвенные воды насыщают солью огромный соляной пласт толщиной в триста метров, что остался он от некогда синевшего здесь пермского моря, что в соляном пласте кроме соли есть калий и магний. Геологические разведки открыли здесь также серные колчеданы, известняки, фосфориты, уголь, песчаники, содержащие медь, алюминиевую глину.

Ученые сопоставили все это с многоводной Камой и огромными лесными массивами, позвали на помощь химию и комбинировали... комбинат.

Философский камень

В средние века люди, называемые алхимиками, бесплодно корпели столетиями, стараясь открыть волшебный философский камень — вещество, способное обращать неблагородные металлы в благородные, железо и медь — в золото.



Философский камень был открыт в двадцатом веке.

Он не может, правда, обращать железо в золото. Но для нас гораздо важнее, что наш „философский камень" обладает способностью облагораживать природные богатства так, что из них можно производить все необходимое для современного человечества. Можно превратить дерево в шелк, добыть наивысший концентрат химического удобрения из воздуха, можно обратить опилки в сахар, глину — в алюминий, можно здесь же на месте сделать все, начиная от галстука и кончая дирижаблем новейшей конструкции.

Этот „философский камень" — основные и сильнейшие химические реагенты: кислоты серная и азотная, щелочи сода и аммиак.

Для производства соды нужны соль и известь, для производства аммиака — кокс и вода, для серной кислоты — серный колчедан и азотная кислота, для азотной кислоты — аммиак.

Азотная и серная кислоты вместе с аммиаком дают азотистые удобрения. Серная кислота перерабатывает фосфориты в суперфосфат, в фосфорные удобрения. Азотные и фосфорные, смешанные с калийными, представляют собой тройные удобрения — весь комплекс питательных веществ, необходимых земле, способных заставить любую почву, в любых условиях, давать поразительные урожаи, как правило увеличивая их вдвое.

Серная кислота превращает древесину в целлюлозу, из целлюлозы делают бумагу, искусственный шелк, кинопленку и т. д.

Из калийных солей добывают магний, из алюминиевой глины — алюминий. Сплав магния и алюминия — прекрасный легкий металл, употребляющийся в частности в авиастроении.

При помощи аммиака, азотной и серной кислот можно поставить производство красок, многочисленных химических препаратов и медикаментов.

Сейчас на Вишере недалеко от Чердыни выстроен бумажно-целлюлозный комбинат, в Губахе — коксо-химический, выжигающий кокс из кизеловских углей и попутно производящий различные химические вещества из отходов этого производства. В Соликамске начинает работать первый калийный рудник и строится магниевый комбинат. В Перми работают суперфосфатные заводы и строится фабрика искусственного шелка. В Березниках же — в Усольи — на днях вошел в строй мощный комбинат, производящий соду, аммиак, серную и азотную кислоты и азотистые удобрения.

Так использовали большевики северо-уральский клад.

Глава из Майн-Рида

Полковник Поппе, президент американской фирмы „Нитроко", консультирующий постройку Березняковского химического комбината, жизнерадостный янки, сказал на одном из технических совещаний:

— Колоссальное строительство, которое упорно ведет совершенно невиданными темпами ваша страна, напоминает мне юношескую эпоху Северо-американских соединенных штатов, эпоху первого их президента Георга Вашингтона. Эту эпоху описали в своих романах капитан Майн-Рид и Фенимор Купер. Первые пионеры Америки так же, как и вы, основывали цивилизацию на пустом месте. Они покоряли себе прерии и джунгли дикой природы и беззаветно дрались за свои права, преодолевая недостижимые препятствия. Ту же романтику, ту же героику я вижу сейчас здесь у вас.

Большевики прослушали молча. Большевики из вежливости не стали возражать, но каждый из них, мысленно сравнив времена, о которых говорил полковник Поппе, с сегодняшним днем социалистического строительства, не мог удержаться от улыбки.

Слишком большая разница и в конечной цели, и в средствах, и в достижениях между этими двумя историческими моментами.

Эффектные герои Майн-Рида — и обыкновенные герои социалистической стройки. Первые, вооруженные хлыстом и револьвером, крошили и грабили дикие индейские племена. Руками черных рабов они завоевывали первые города и обрабатывали плантации. Руками рабов создавали государство самого жестокого, самого наглого, самого беспринципного монополистического капитализма. Они создали его — это царство доллара, электрического стула, суда Линча, Генри Форда, Моргана, Рокфеллера, бандита Аль-Капоне и беспримерного ханжества. Будучи хищниками, они положили основу принципам хищничества, известный принцип всех классов угнетателей — эксплоатацию человека человеком. Они не предвидели, что спустя полтора века их потомки станут свидетелями безусловной гибели этого царства, загнанного вступик противоречиями капитализма и мировым его кризисом.

Вторые не держали в своих руках хлыста. Он был не нужен им. Они никогда не заставляли работать за себя. Они работали сами.

Они дрались не для того, чтобы набить свой карман, они защищали право строить свой новый мир, не имеющий ни малейшего сходства с существовавшим, право строить социализм, общество, где нет деления людей на классы.

Вот они — эти темпы, удивившие хладнокровного янки.

Строительство и монтаж гидро-генераторного корпуса в Березняках кубатурой в девятнадцать тысяч метров, наполненного сверху донизу сложнейшей аппаратурой и механизмами, заняло всего одиннадцать месяцев,

Березниковский сернокислотный завод — гигант общей кубатурой в пятьдесят тысяч метров — был выстроен и смонтирован в тринадцать месяцев.

Теплоэлектроцентраль,—этот Березниковский левиафан размерами в двести сорок кубометров, — был готов строительством и монтажем в шестнадцать с половиной месяцев.

Природа была негостеприимна. На месте комбината стояло болото. Два миллиона кубометров земли насыпали в него. Четыреста тысяч кубометров земли вынули из котлованов промышленных зданий. Котлованы укрепили сваями и бетоном. Сто двадцать пять тысяч кубометров влили сюда.

Четыре тысячи тонн железных конструкций составили скелеты будущих корпусов. Тридцать четыре миллиона штук кирпича облепляют этот скелет.

Девятнадцать тысяч тонн оборудования и шестнадцать тысяч тонн специальных материалов было смонтировано на Березниковском химкомбинате. Сто кубометров трубопроводов связали это оборудование в единую производственную цепь.

Все это было сделано в течение двух лет— 1930 и 1931 годов.

Это сделали землекопы Султанова, занесенные на красную доску ударников Урала, бетонщики Ардуванова, награжденные орденом Ленина, каменщики Бабкина, выполнявшие план, как правило, на сто тридцать процентов, монтажники Семирюкова, догнавшие свою производительность до двухсот трех процентов.

В любую погоду, в сорокаградусный мороз, под снежным ураганом, в ледяной воде, под проливным дождем, под палящим солнцем работали они — и тысячи других — по доброй воле, по восьми, по десяти, по шестнадцати, по двадцать четыре часа в сутки, когда было нужно.

И кроме Ардуванова на строительстве был награжден орденом Ленина слесарь Вотинов, бригадир ремонтной бригады базы механизации.

Башня побежала

Березниковский химический комбинат — самое мощное и самое интересное из всех новых предприятий северного Урала.

Если смотреть на него с самолета, кажется, что огромная чайка распластала свои гигантские крылья вдоль берега мутной и широкой Камы.

Левое крыло чайки — содовый цикл комбината, правое — азотный, в центре — сердце — тепло-электроцентраль; а в клюве своем держит чайка ветку железнодорожной магистрали.

По ветке ползет розовая гусеница. Это — поезд. Он везет уголь из шахт Кизеловского бассейна, что в трех часах езды от комбината.

Гусеница скрывается в клюве чайки. Вагоны выбрасывают свой груз на угольном складе.

Угольный склад имеет форму полукруга. На концах его радиуса — две башни. Кружево из железных конструкций напоминает радиобашню Эйфеля в Париже. Правда, они значительно ниже последней, но все же высота каждой из них — около двадцати метров. Башни соединены канатами. По канату бегает грейфер — ковш.

Грейфер останавливается над грудой угля. Он парит над ней, как ястреб. Его челюсти медленно раскрываются. Он стремительно падает вниз.

Челюсти сжимаются. Грейфер откусывает от груды три тонны угля, взлетает в воздух и мчится по канату к бункеру угледробилки. Здесь его челюсти вновь разжимаются. Уголь грохочет в бункере.

Но вот грейфер подобрал весь уголь на линии каната. Машинист, сидящий в будке, на вершине головной башни, что стоит в центре круга, поворачивает главный рычаг.

Рычаг повернут. На противоположной радиальной башне вспыхивают два прожекторных глаза, и, чуть покачиваясь, башня начинает передвигаться.

Все убыстряя и убыстряя ход, она катится по стальному рельсу, окружающему склад, со скоростью пятнадцати метров в секунду. Железобетонный куб — стотонный противовес, прикрепленный сбоку — поддерживает ее равновесие. Она останавливается, и опять грейфер бежит по канату-радиусу к другой груде угля.

Длинные ленты транспортеров непрерывно тянут уголь вверх и сбрасывают его на быстро вращающиеся валы дробилок.

Размельченный сыплется уголь в вагонетки подвесной дороги. Вагонетки взлетают ввысь.

Вагонетки плывут над комбинатом, как птицы. Они ныряют под крышу тепло-электроцентрали — семиэтажного гиганта. Они кувыркаются над бункерами мельничной установки. Уголь поступает в систему пылеприготовления. Во вращающихся барабанах катаются стальные шары. Они размалывают уголь в мельчайшую пыль, которая подчиняется законам уже не твердых, а жидких тел. Поддетая на лопату, она стекает с нее, как чернила.

Эксгаустер всасывает пыль в трубопровод. Горячий воздух подогревает ее. Она вдувается в топки котлов и моментально сгорает.

Двести тысяч водовозов

С другой стороны, со стороны Камы в котлы тепло-электроцентрали подается вода.

Вода — самое главное для Березниковского химкомбината. Она одновременно и сырье, и энергия, и материал, и катализатор. Три четверти всей аппаратуры комбината соприкасаются с водой, остальная четверть действует благодаря ей.

Мощность всех трех водоносных станций комбината — пятьдесят тысяч кубометров воды в час. Это потребность Нью-Йорка, это в три раза больше мощности московского водопровода.

Водонасосная № 3 — самая мощная. Инженер Чайковский, проектировщик и строитель этого гиганта, в шутку подсчитал, сколько водовозных кляч понадобилось бы, чтобы заменить его. Получилось сумасшедшее число — двести тысяч.

Мощность всех механизмов станций — десять тысяч механических лошадиных сил.

Здание, кубатурой в шестьдесят тысяч метров на четыре пятых уходит в землю. Пол главного зала — на десятиметровой глубине от уровня высокой воды Камы. Стены в три метра толщиной поддерживают бетонные раскосы. Раскосы покрыты испариной. За ними — Кама.

В огромные коллекторы подают насосы каждый по пятьдесят четыре тысячи литров воды в минуту.

Из коллекторов вода идет в тоннели. Бетонные коридоры их огромны. Это — вторые подземные Березники. Двойной ряд электрических лампочек теряется вдалеке. Большой тоннель тянется на триста двадцать метров, малый — на сто.

Тоннели связывают между собой все основные сооружения комбината, цехи аммиачного завода, тепло-электроцентраль, водонасосные станции, водоочистку. Главные артерии воды и пара проложены здесь.

В тоннелях — около двадцати трубопроводов. Трубопроводы перерезаны гигантскими задвижками, шиберами, вентилями, весом каждая по шести тонн. Вся система Березниковского водоснабжения представляет собой ряд узлов, чтобы в любой момент снабжение водой любого корпуса могло быть переключено на другую магистраль. При такой системе никакая авария с водоснабжением не сможет нарушить бесперебойную подачу воды заводам комбината.

Кроме других трубопроводов в тоннелях — водоводы диаметром в тысячу двести миллиметров. В них можно ходить. Это — деревянные трубы, стянутые стальными обручами, самые большие деревянные трубы в СССР.

По двум из них подается вода в тепло-электроцентраль, в сердце химкомбината.

Сердце

Профессор Стадол, немецкий ученый, мировая величина, по учебникам которого учились и учатся все энергетики, прислал письмо

с просьбой разрешить ему приехать в СССР осмотреть Березниковскую ТЭЦ и поучиться у ее строителей.

Березниковская ТЭЦ — первая в СССР и пятнадцатая в мире. Таких станций три в Европе и одиннадцать в Америке.

Мощность ее — восемьдесят тысяч килловатт в час с последующим расширением до ста пятидесяти тысяч. Но главное — в том, что основная задача станции — снабжать комбинат не только электроэнергией, а и паром.

Из пара ТЭЦ в цехах аммиачного завода добывают водород — основную составную часть аммиака. ТЭЦовский пар вертит не только два ряда ее турбин, производящих электроэнергию, но и гигантские компрессоры завода. Он нагревает аппаратуру, отапливает весь комбинат и социалистический город, а в ближайшее время огромные его количества, отдавшие свою силу на вращение машин и потерявшие свою упругость, идущие уже в отброс, предполагается использовать для парникового и оранжерейного хозяйства.

Оранжереи и парники будут разбиты на огромной площади за комбинатом. Кроваво-красные помидоры, сочные огурцы, золотые апельсины, пушистые персики и абрикосы, желтые бухарские дыни, крымский виноград, африканские бананы будут зреть здесь круглый год — и чахлым северным летом и в жестокие зимние бураны, в пятидесятиградусные сибирские морозы.

Пар получается в котлах давлением в шестьдесят атмосфер.

Их пять. Они стоят внутри ТЭЦ, огромные, как броненосцы.

Бесчисленные трубы, спутанные в клубок, их тела.

Трубы дрожат от напряжения. Дрожит пол в котельной, легкий зуд щекочет подошвы.

Пар вращает семь турбин, распластавшихся на кафельном полу машинного зала.

Рядом с машинным залом — зал главного щита управления.

Блестящие циферблаты счетчиков, указателей и измерительных приборов глазеют со стен.

Здесь тишина, и сосредоточенный аккуратный инженер-электрик, в роговых очках, в крахмаленном воротничке и галстуке с искоркой, повернув рукой с отполированными ногтями выключатель, посылает десятки тысяч лошадиных сил работать за людей.

Из здания распределительного устройства — здания, где нет ни одного человека, где серый мрамор ступеней, блестящая масляная краска стен, бесшумные резиновые ковры и в стальных клетках широкие железные шины, окрашенные в зеленый, желтый, красный цвета, — энергия мчится в цехи по проводам, подвешенным на фарфоровых гирляндах электропередач, несется по району энергия электричества.

Движущийся иероглиф

Основная группа комбината — азотная.

Основной завод азотной группы — аммиачный.

Аммиак NH_3 — смесь азота и водорода.

Азот добывается из воздуха, водород — из воды. Но это совсем не так просто. Чтобы заставить воздух и воду отдать частицы нужных нам газов и в нужной пропорции 1 : 3, требуется целый ряд сложнейших превращений.

Аммиачный завод состоит из восьми огромных зданий цехов, связанных между собой напряженными жилами трубопроводов в единый организм.

Технологический процесс начинается в газогенераторном цехе.

Снаружи он выделяется среди других корпусов своим необычным обликом: желтые и кирпичные стены с перекрестными балками стального каркаса, широкие и низкие окна, верхние этажи, выступающие над нижними и нависающие над ними, остроконечная „колокольня“, сколоченная черным железом, где ползет коксовый подъемник.

Внутри — толстенные туловища генераторов, железные легкие воздуходувок, колонны скрубберов, холодильники, многочисленные приборы для утилизации аппаратов и трубы, трубищи, трубочки, связывающие все это воедино бесчисленными петлями и узлами в одну машину, величиной с небоскреб, действующую абсолютно автоматически.

Эта машина не похожа на огромную турбину, на компрессор, на мотор, отбивающий бешеный ритм в мощном, но монотонно-тупом мускульном беге. Нет, это сложнейший механизм, движения которого необычайно многообразны, который перестал уже быть механизмом в том смысле, как мы его понимаем, а обратился как бы в мыслящее существо, сохранив однако чисто-механическую идеальную ловкость, точность и грацию, недоступную тем, кто сделан из костей и мяса, а не из железа.

— Это гигантские часы? — спросите вы в поисках подходящего образа.

— Нет, это скорее гигантский металлический часовщик, занятый искусной ювелирной работой.

Я карабкаюсь по узким лесенкам в хаосе труб, проводов, стальных колонн разнообразнейшего диаметра и формы, в чудовищно-запутанном, но глубоко-мудром хаосе сложнейшего иероглифа, где каждая сантиметровая загогулина имеет столь же глубокий смысл, как и десятиметровый железный колосс какого-нибудь генератора или скруббера.

Но иероглиф далеко не статичен. Динамика движения владеет им. Иероглиф живет и работает.

Крик-крак... Вентиль, который только что был неподвижен, повернулся на моих глазах сам собой. Он привел в движение целую систему рычагов, от мизерных до колоссальных. Рычаги открыли задвижку размеров средней величины ворот, и в трубе загудел пар.

Крик-крак... Опустился стержень, и железный палец зацепил другой, потянул его вверх

и другая задвижка закрылась почти бесшумно, плавно, без спешки, без ненужной экспансии, с машинной невозмутимостью и по-человечески осмысленно.

Секундомеры носят здесь метерлинковское название „колес времени". Но ошибочно было бы думать, что при окрещивании их этим именем принимали во внимание какие-либо мистические соображения. Наоборот, название вполне логичное. Дело в том, что технологический процесс полуводяного газа, который затем в других цехах обратится в аммиак, разделен на ряд разнообразных циклов, тесно связанных между собой. Продолжительность каждого цикла также разнообразна — несколько секунд или несколько минут. „Колеса времени" отсчитывают мгновения этих циклов, система рычагов связана с ними, и таким образом все приводится в движение.

Но это — еще не полная разгадка тайны газогенераторного цеха. Люди заводят его, как граммофон, настраивают и уходят, но он не только играет, он „соображает" во время этой игры.

Рычаги вдруг приходят в необычайное движение, занимают положение, непохожее на предыдущее. Резкий автомобильный гудок привлекает внимание инженера. Система автоматического управления связана также с многочисленными контрольными приборами, вмонтированными в технологический процесс, проверяющими его ход постоянно, и в случае какой-нибудь ненормальности рычаги сами становятся в нейтральное положение, ликвидируют могущую произойти аварию, и цех продолжает работать. Человек, призванный сигналом, обязан предупредить причину дальнейших аварий. Только в этом и заключается его роль. Больше ему здесь делать нечего.

Его место — там, в углу цеха, в застекленной кабинке, среди колб и реторт, наполненных жидкостями всех цветов радуги. Его дело — изучать и суммировать анализы газа, которые в цехе также уже проделал за него металлический слуга, подсчитал и записал точно и честно на разграфленном листе диаграммы.

Установка эта — первая в СССР и девятая мире.

В генераторах продуванием сквозь раскаленный кокс пара и воздуха получается полуводяной газ, полуфабрикат аммиака.

Чтобы получить его впервые, чтобы отрегулировать механизм, подчинить его своей воле, не мало пришлось поработать людям.

Усмирение строптивого

Сначала к коксовой яме подкатила железнодорожная платформа. Она сбросила туда серую, сухую, звенящую массу ценного топлива. Скип зачерпнул ее и по рельсам коксового подъемника пополз вверх.

Он достиг вершины „колокольни" и опрокинулся. Кокс прогрохотал в бункерах, взвесился, провалился ниже на чавкающие валки дробилки, на сита, на ленты транспортеров, в коллектор, в десятитонные бункеры генераторов.

Внизу, перед открытой топкой, зажгли спичку. Огонь лакомо облизнул масляную тряпку, навороченную на палку. Палку сунули в пасть генератора. Огонь устремился внутрь. В стальном генераторном цилиндре завыло пламя.

Топку замуровали огнеупорным кирпичом. Пустили автоматический коксовый питатель. Пламя сжалось в кулак, потеряло желтый блеск, стало красным. Кокс накалялся.

Десять дней сушился генератор. Десять дней тлел кокс красным жаром в стальном его цилиндре. Десять дней ползла стрелка газового пирометра. Медленно ползала, чтобы привыкла аппаратура к зною, освоилась с ним, акклиматизировалась, чтобы не деформировалась от быстрого подъема температуры.

Двести пятьдесят делений прошла стрелка газового пирометра за эти десять дней и на одиннадцатый ускорила бег.

Все чаще и чаще пускался автоматический коксовый питатель, все усиленней и усиленней падал кокс, расшвыриваемый веером в генераторном цилиндре. Все выше и выше поднималась зона его горения. Четыре метра до крышки цилиндра... три... два... Все дольше и дольше пыжилась воздуходувка, вздувая жар воздушным вихрем. Триста, четыреста, пятьсот, шестьсот градусов указывала дрожащая стрелка пирометра. Пламя стало оранжевым, затем голубым, фиолетовым. Оно заполнило весь генератор сверкающей гудящей стихией и со свистом вырывалось из ноздрей его щуровочных отверстий.

Генератор начал дышать.

Затем начали регулировку. Повернули первые рычаги, пока руками, пока не доверяя автоматам.

Цикл производства полуводяного газа состоит из нескольких фаз.

Первая фаза — снизу генератора вдувается воздух для максимального разогрева. Гудит воздуходувка. Стрела пирометра шарахается на тысяча триста пятьдесят градусов.

Вторая фаза—удалить из генератора дымовые газы и в него вдуть пар.

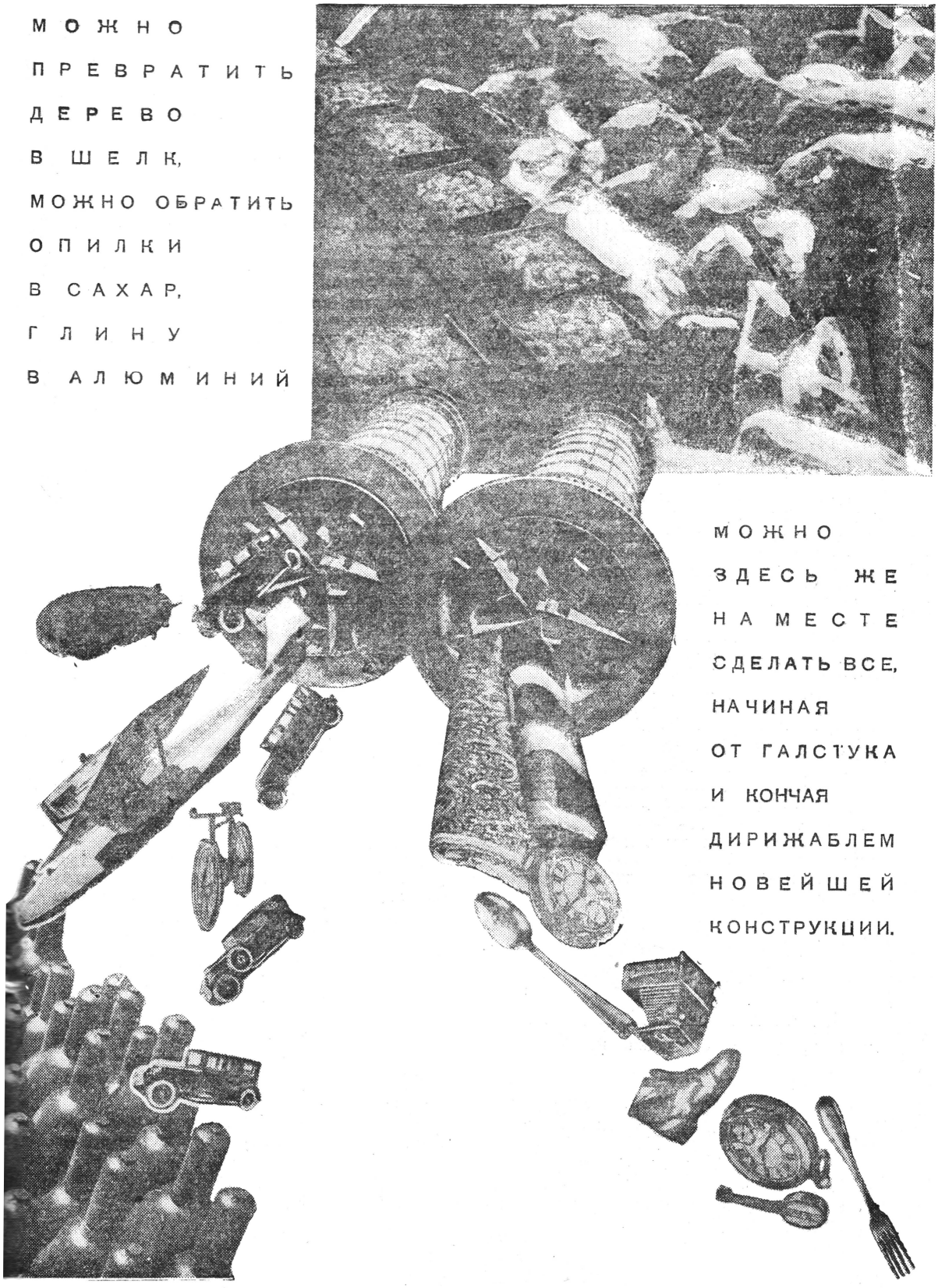
Следующая фаза—с оглушительным шипеньем снизу и сверху штурмует пар массу раскаленного кокса. Пар разлагается, из него выделяется водород — основная составная часть полуводяного газа, а кислород соединяется с углеродом кокса.

Но пар — это „холодная" фаза. Пар отнимает тепло, и опять в генератор вместе с паром врывается воздух. Он отдает кислород на горение, поднимает температуру, а азот отдает газу.

Цикл закончен. Цикл начинается снова.

В составе полуводяного газа должно быть водорода — H_2 и окиси углерода — CO — не менее семидесяти трех процентов. Анализ показывал: H_2 — сорок пять процентов и CO — только девять.

МОЖНО
ПРЕВРАТИТЬ
ДЕРЕВО
В ШЕЛК,
МОЖНО ОБРАТИТЬ
ОПИЛКИ
В САХАР,
ГЛИНУ
В АЛЮМИНИЙ



МОЖНО
ЗДЕСЬ ЖЕ
НА МЕСТЕ
СДЕЛАТЬ ВСЕ,
НАЧИНАЯ
ОТ ГАЛСТУКА
И КОНЧАЯ
ДИРИЖАБЛЕМ
НОВЕЙШЕЙ
КОНСТРУКЦИИ.

За семьдесят три процента H_2 и CO начался решительный бой.

Цех-автомат — высшее достижение человеческой техники, заменяющий полностью работу и рабочего и инженера — нужно было наладить, настроить, раскачать и пустить так, чтобы, работая образцово, он не ошибался. Это было делом человека. Тяжелым, кропотливым делом, которое тем тяжелей, чем сложней и умней автомат.

Нелегко было объезжать его механизмы. Горячие, живые, налитые бешеной кровью пара, они пофыркивали, вздрагивали круто выгнутыми конскими шеями трубопроводов, они пытались понести неоднократно. И крепко нужно было держать удила управления человеческим рукам.

Победу принесла лаборантка в маковой косынке, девушка принесла ее в розовых скляночках, наполненных у пробного штуцера газовой магистрали, принесла и записала в журнале анализов:

$H_2+CO=78\%$. 23 марта 10 часов 40 минут.

Цех-автомат пошел размеренно и четко, как немецкий солдат на параде.

Переводчики перевели:

— Англичане говорят: передайте мистерам русским, что мы очень довольны их работой.

И еще раз перевели переводчики:

— Русские говорят: передайте товарищам англичанам, что мы также довольны их руководством.

И люди разных частей планеты, улыбаясь, пожали руки друг другу.

Люди овладели техникой. Эти люди — старший аппаратчик Табунин, который знает не только, как нужно вертеть вентили, но и почему их нужно вертеть так, а не иначе; Фокеев, старший элеваторщик коксовой станции, аппаратчик Горюнов, изучивший, как свои пять пальцев, водяной генератор. Трудно было ему сначала на химическом производстве, долго бился, но добился того, чего хотел. Послушно и старательно ведет себя агрегат в его крепких уверенных руках.

— Тип-топ, — говорят иностранцы, видевшие их работу.

Тип-топ — интернациональное выражение. Оно непереводимо. „На-ять“, „на большой палец“ — вот его смысл.

Его путь

Из газогенераторного цеха газ идет в большой газгольдер, служащий промежуточным складом этого невесомого полуфабриката между звеньями цепи производственного процесса.

Газгольдер похож снаружи на огромную пивную кружку. Он — кирпичный, круглый, опоясанный этажами окон.

В окна смотрят прожекторы, установленные снаружи, освещающие сквозь оконные стекла его внутренность. Электропроводки внутри нет. Она взрывоопасна. Кругом — предупредительные надписи на трех языках.

Внутри газгольдера — три стальных колокола, вдвинутых друг в друга, как телескоп.

Газ идет — и первый колокол, двадцати восьми метров в диаметре, ползет вверх. Он выдвигается и тянет за собой другой — побольше, двадцати девяти метров в диаметре, и наконец третий, самый крупный, тридцатиметровый. На сорок метров вверх вытягивается эта гигантская подзорная труба.

Снаружи на стене газгольдерного кирпичного чехла вертится стрелка газового счетчика. Три, семь, десять, пятнадцать тысяч кубометров.

Из большого газгольдера газ идет непрерывным конвейером по всем остальным цехам.

Газодувки всасывают его в цех конверсии, в сатурационные башни, в колонны конверторов, где он обогащается дополнительным водородом.

В конверторах происходит реакция восстановления водяного пара до водорода. Но в конверторах нет бушующей стихии пламени, как в генераторах. Здесь горение происходит без огня. Здесь идет процесс, аналогичный тому горению, которое ведется непрерывно в наших легких. Окись углерода из газа жадно выхватывает частицы кислорода из водяного пара и обращается в углекислоту. Освобожденные частицы водорода обогащают собой газ.

Но „мавр сделал свое дело и мавр должен уйти“. Углекислоту нужно отсеять от газа.

Это возможно под давлением. Газ поступает в цех компрессии — центральное месильное отделение этой химической кухни.

Три гигантских компрессора сжимают его до шестнадцати атмосфер и вдувают прямо под водяной дождь в колонны скрубберов цеха очистки. Капли воды выхватывают из газа углекислоту.

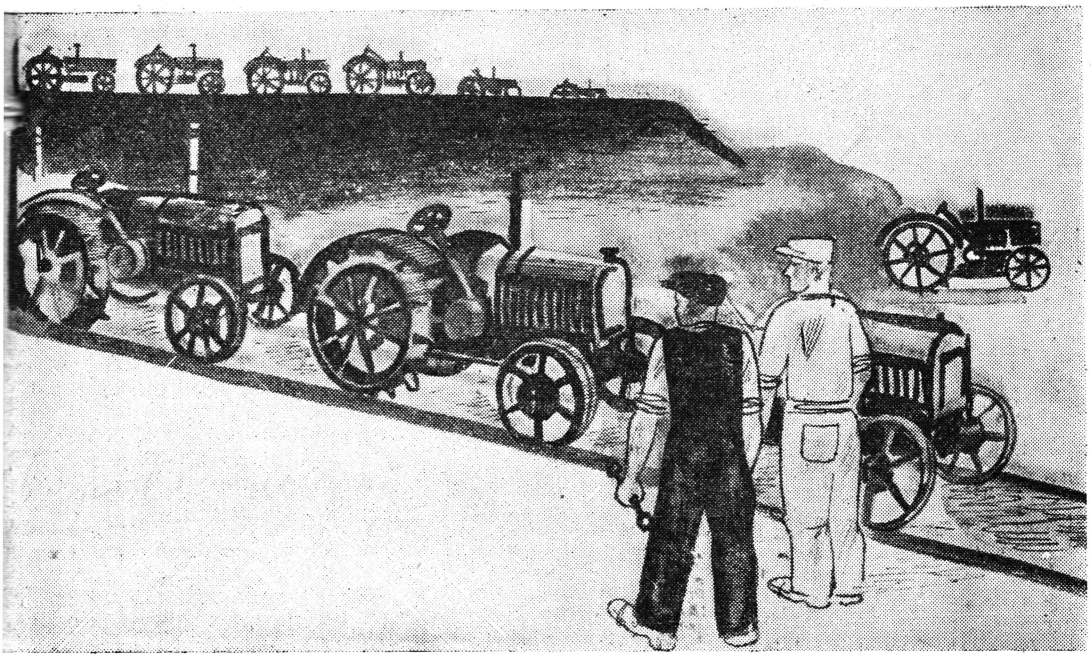
Вымытый газ опять возвращается в компрессию, снова сжимается уже до ста двадцати атмосфер и снова поступает в очистку, в скрубберы высокого давления, где отмывается окончательно аммиачно-медным раствором и раствором каустика.

Теперь мы имеем в составе газа азот и водород. Их частицы нужно соединить в пропорции 1 : 3. Но они не „хотят“ этого. Аммиак в природе не существует в статическом состоянии. Полученный каким-либо образом он немедленно разлагается. Азот и водород „избегают“ друг друга.

Тогда снова на помощь приходит компрессия. Компрессор опять пускает в ход свои кулаки. Он сжимает газ до трехсот атмосфер и вгоняет его в колонны синтеза, где в присутствии катализатора частицы азота и водорода не выдерживают борьбы и соединяются, вытекая в виде жидкости — аммиака.

В природе ничто не пропадает бесследно. И та огромная сила, которую мы приложили для получения аммиака, концентрируется и сохраняется в нем. В любое время она может быть нами использована для любой цели.

Березники.



ЧЕСТЬ фирмы

ИГОРЬ РАВСКИЙ

Рисунки В. МУРЕТОВА

I

Хозяин молча указал Драйеру свободное кресло и сосредоточенно взглянул в окно. В кабинет врывались огненные буквы рекламы: „Зуборезно-обкатные станки фирмы „Глиссон". Необходимы каждому автомобильному заводу".

Где-то там, в сгустке темноты, вероятно копошились звезды. Мистер Глиссон не видел их. Драйер не видел тоже. Они были слишком тусклыми и далекими.

Хозяин придвинул к себе пепельницу и вздохнул.

— Вы давно работаете на нашем заводе, не правда ли, мистер Драйер?

— Осенью исполнится двадцать лет.

— Очень хорошо. Это славный юбилей честного труженика. Мне кажется, я не ошибся.— Хозяин поднялся и стал рядом с его креслом.— Вот видите ли, я хочу отметить ваш юбилей. Впрочем, насколько я помню, вы никогда не выражали недовольства... Не так ли?

Драйер встревоженно приподнялся в кресле.

— Дело в том, дорогой мистер Драйер, что, как вам известно... — Хозяин, не улыбаясь, посмотрел ему прямо в лицо, — мы отправляем в Советскую Россию большую партию наших лучших питомцев, лучших зуборезных машин фирмы „Глиссон"... Вы, конечно, знаете, что это очень выгодный рынок...

— Я ничего не знаю, мистер Глиссон.— осторожно перебил Драйер.

— Очень хорошо, — сказал с ударением хозяин. — Но теперь я хочу, чтоб вы знали.. Этим крошкам нужен опытный и преданный делу гувернер. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы сказали мне прямо — чувствуете ли вы в себе достаточно сил, надеетесь ли вы оправдать доверие вашего хозяина?— Он снова усадил поднявшегося в кресле Драйера.—Видите ли, нужно сопровождать их всюду, — нежно говорил мистер Глиссон. — Говорят, там, в России, ужасные дороги... Вы должны заботиться о них лучше, чем о собственных детях. Вы слышите, мистер Драйер,—лучше, чем о собственных детях. У вас есть дети?

— Нет, у нас нет детей,—смущенно пробормотал Драйер,—но это ничего не значит. Я могу... Я уверен...

— Это хорошо,—перебил хозяин. — Уверенность—сила. Но помните, мистер Драйер, в ваших руках—репутация фирмы. Это важнее, чем наша личная честь... это—драгоценный сосуд!

Драйер взволнованно прижал руки к груди. Голова его горела.

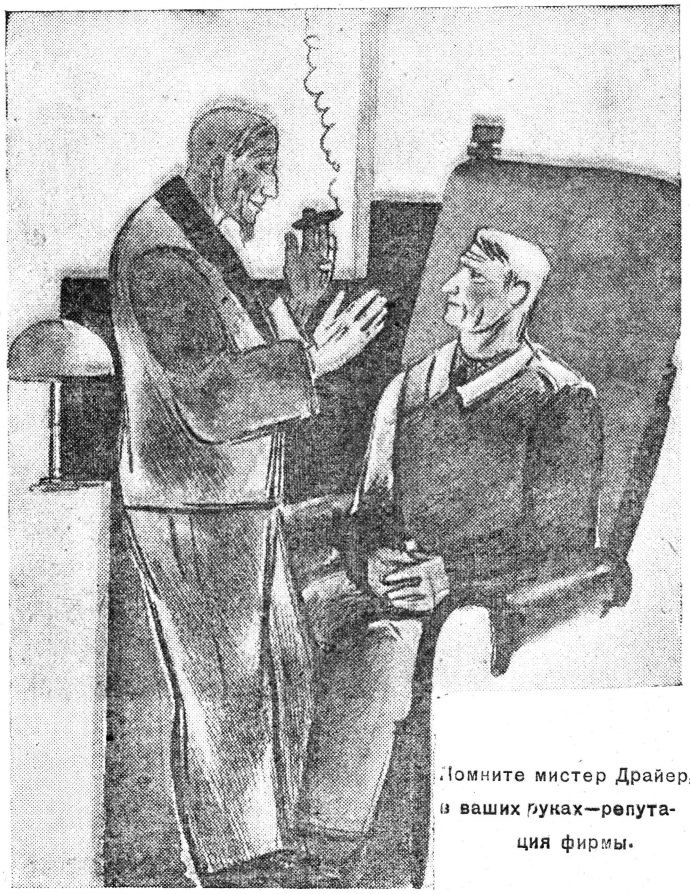
За его спиной, совсем-совсем близко отчетливо стучала машинка.

Хозяин сам открыл ему дверь.

— Через год вы вернетесь,—сказал он.—За это время мы придумаем, как вас вознаградить.

Он жадно глотал суп и улыбался.

Жена сидела напротив, раскрасневшаяся и счастливая. Она смотрела на него влажными, блестящими глазами. Она сняла передник и за-



Помните мистер Драйер, в ваших руках—репутация фирмы.

глядывала в зеркало через стол. Ей казалось, что она видела его в первый раз.

— Он так и сказал, Элли: „за это время мы придумаем, как вас вознаградить".

— Что же он придумает, Чарли?—говорила она, поправляя прическу.

— Он сказал: „репутация фирмы — это драгоценный сосуд".

— Я думаю, Чарли, что, кроме большого подарка, он прибавит тебе пять долларов в неделю.

— Ты с ума сошла, Элли! Такие люди, как наш хозяин, не пачкаются из-за пяти долларов. Не меньше восьми. Вот увидишь!

— Чарли! Ты расстраиваешь меня. Замолчи! Я уже вижу нашу маленькую квартирку на Пятой авеню и тот самый... Помнишь, Чарли...— Ореховый гарнитур! Мне кажется, что я уже сижу... Бедный Чарли,—вспомнила вдруг она,— мы не увидимся целый год!

Он вытянул ноги под столом и сказал, строго сжав губы:

— Это большая честь, Элли. Он сказал— „драгоценный сосуд..."

II

Их было одиннадцать. Они тщательно прожевывали каждое движение американца. Они размахивали руками и задавали вопросы.

— Машина требует ухода, друзья, — говорила переводчица. И Драйер утверждающе кивал головой. Одну за другой он вынимал маслянистые части машины, мял их своими пухлыми пальцами и улыбался так, как улыбаются из окна вагона.

Они сами хотели все видеть и все пощупать. У них были беспокойные руки. Драйеру говорили, что многие из них были комсомольцы.

Он боялся оставить их наедине со своими питомцами. Их лохматые головы и всегда расстегнутые воротники рубашек не внушали ему доверия. Они могли отвинтить не то, вставить не туда, они могли что-нибудь испортить или сломать.

Гудок неслышно проходил за их спиной, не задевая их.

— Мистер Драйер,—говорили русские юноши,—что же вы не идете домой?

— Мы вместе, — сдержанно говорил Драйер.—Вместе...

И они продолжали копаться в распоротом брюхе „Глиссона". И новый мир—мир сцеплений и шестерен — раскрывался перед ними, как ставни.

Растрепанный, курносый Колька Таскаев бил его по плечу и называл „ударник Чарльз". Драйер пожимал плечами и неопределенно мычал.

Он часто опаздывал к обеду и тогда ел в буфете салат.

— Уж не стал ли ты большевиком, Чарли?—посмеиваясь, говорил ему фрезеровщик Моррис, — почему тебя так хвалят здесь?

— Из-за него скоро всех нас заставят работать по двенадцати часов, — ворчал Геммер и сердито выкатывал на Драйера свои выпуклые глаза.

Драйер прижимал руки к груди. Он оправдывался.

— Чудаки! В моих руках репутация фирмы. Хозяин сказал, что я должен заботиться о них лучше, чем о собственных детях. Вы понимаете, что это значит?

Было тусклое осеннее утро. Мокрые тракторы прижимались к стенам цехов. Покачиваясь на толстых ногах, Драйер осторожно переступал лужи. Застекленные крыши роняли капли за его воротник.

Вероятно он опоздал — немного, не больше пяти минут. У крайнего к проходу станка сбилась тесная группа его учеников. Кричали все сразу. Высокий Антонов растерянно разводил руками. У него было красное лицо, и в правой руке он держал тряпку.

Драйер внезапно вспотел.

— Машина? Что машина?—дрогнувшим голосом кричал он по-русски.

Все расступились.

О! Это было так неожиданно и так страшно!

У Драйера закололо в коленях. Он нагнулся и торопливо ощупывал руками части знакомого ему, как собственное лицо, механизма

Были сломаны передаточные шестерни, порвана цепь; щитки, ограждающие шестерни, рассыпались вдребезги.

Драйер тихо стонал и качал головой. Вокруг все молчали. И вдруг он шумно отбросил сломанную шестерню и вытянулся.

— Кто? Кто?—взвизгнул он, обиженно мигая глазами. Он бесшумно открывал и закрывал рот, не находя ни одного нужного слова.

Одна из девушек побежала за переводчицей.

Драйер напряженно разглядывал Антонова и громко сопел.

Да, это Антонов положил тряпку возле делительных шестерен и пустил станок. А когда он пошел выносить стружки, шестерни втянули тряпку, и вот...

Вызвали слесарей. Драйер помогал им.

Вечер застал его на коленях. Он был без пиджака, толстые щеки его были залиты машинным маслом, в проборе застряла стружка. Он насвистывал. Ласково жонглировали умирающим светом новые гладкие шестерни.

Станок был в исправности.

Анька Горбушина и Колька Таскаев — лучшие ученики Драйера—весело переглядывались.

— Мистер Чарльз,—сказала Анька,—приходите в столовую на собрание ячейки. Обсуждаем поступок Антонова.

— Комсомольская ячейка — это политика,—говорит Драйер,— Антонову придется заплатить большой штраф. Новые шестерни стоят семьдесят долларов. Политика—это одно, а машина—это совсем другое. Машина любит хорошее обращение.

Маленькая и подвижная Анька Горбушина нервно сжимает локоть переводчицы.

— Скажите ему, что политика делает машины, скажите, что это одно и то же; скажите, что здесь не берут никаких штрафов...

Переводчица долго вышивала мозаику из ярких и незнакомых слов. Анька нетерпеливо шевелила губами. Изо всех сил она старалась помочь, разъяснить...

— Хоу, ня штраф? штраф? — изумленно повторял Драйер, переводя глаза с переводчицы на Горбушину и на Таскаева.

Колька Таскаев отрицательно двигал ладонью.

Подняв брови, Драйер неподвижно смотрел на эту ладонь. Он не видел ее. Пальцы его беспомощно тискали шляпу. Он стоял немного нагнувшись, как будто хотел прыгнуть. В соседнем пролете прогрохотала автокара.

— Вот чудак, — тихо сказал Колька.

Драйер, не глядя, медленно одевал калоши.

Десятки тракторов ежедневно выкатывала лента конвейера. Праздничные и пестрые, они выстраивались у ворот в почетном карауле. Зубастые шестеренки они хранили в своей груди, как сердце.

Зуборезы перешли на две смены. В смене „А" наладчик — Чарльз Драйер, в смене „Б"— Анька Горбушина.

Она приходит сменять его на полчаса раньше. Она необычно весела и дышит морозом.

Из открытой пасти станка Драйер бесстрашно вынимает готовую деталь. Вставляет новую. Закрепляет гайку и ручку зажимает. Быстрая, как фокус, сумма движений. И несдерживаемым фонтаном выплескивается масло. И шестеренка наклоняет свои голые плечи.

— Хэлло, бой! — кричит Драйер, поворачиваясь к Аньке, и поднимает руку, как пионер.

Она находит переводчицу в соседнем пролете.

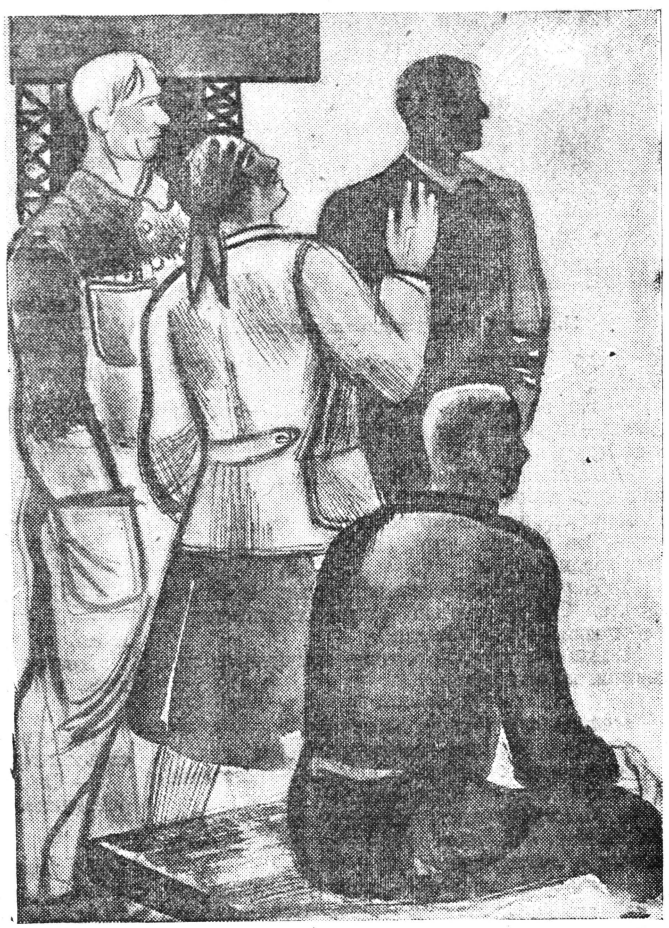
— Я хотела спросить, — говорит Анька,— Никто из ребят не знает... Почему нельзя пользоваться стандартом, когда большая шестеренка — ведущая?

— Этого совсем не надо знать. Есть табличка.

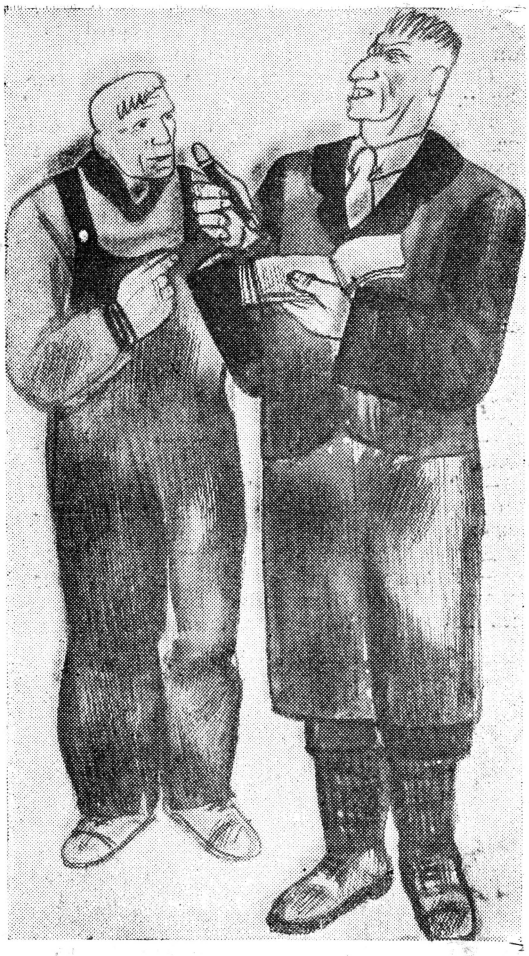
— Да, но почему в одном случае стандарт, а в другом—табличка?—допытывается Анька.— Значит что-то меняется в условиях резания.

Драйер разводит руками.

— Инженер знает. Драйер—рабочий. Драйер хорошо знает свои операции. Его дело — нарезать шестерни и хорошо смазывать машину



У крайнего к проходу станка сбилась тесная группа его учеников.



Мистер Стрэнг задавал вопросы.

И надо смотреть, чтобы не затупились резцы...

— Но ведь надо же понимать... — говорит Анька,—надо понимать, почему такие операции, а не другие.

— Понимать надо хозяину, инженеру. Зачем понимать рабочему?

Переводчица ехидно поджимает губы.

— Что вы его учите, Горбушина? Он работает двадцать лет.

Драйер рассеянно снимает деталь. Руки его дрожат. Он мучительно старается вспомнить, что нужно делать дальше.

Анька отвертывает вентиль масленки и становится на его место.

Вечером в его дверь постучали.

— Алло, Моррис!—крикнул Драйер.

Вошел кто-то высокий, в светлом костюме. Драйер вскочил и зажег свет.

— Мистер Стрэнг...—взволнованно прошептал Драйер. Он, поеживаясь, натягивал на себя пиджак и одновременно подавал стул.

— Дорогой коллега,— сухо сказал мистер Стрэнг,—я предпочел бы отправиться прямо на завод.

Они шли по узкой тропинке. Перед ними расступались плоские квадраты цехов.

— Вот это склад стали,—говорил Драйер.— Там, где кончаются рельсы, — там кузница. Не думаете ли вы, мистер Стрэнг, что здесь почти как в Рочестере?

— Вы очень неплохо выглядите, Чарльз,— мистер Стрэнг ядовито усмехнулся.—Я слышал, вы стали совсем большевиком...

Драйер побледнел.

— Кто мог сказать это мистеру Стрэнгу? Это чья-то идиотская шутка. Разве не мистер Глиссон послал меня сюда, разве не он доверил мне репутацию фирмы? Вы сами посмотрите, в каком состоянии машины.,.

— Хорошо, мы посмотрим,—сдержанно ответил Стрэнг.

Потный, с засученными рукавами, Драйер суетливо метался между станками.

— Мистер Стрэнг, ни одной поломки! Послушайте, как стучит каретка. Какая чистота звука! Это значит—она аккуратно получает порцию масла, она пользуется внимательным уходом, истинно материнской заботой...

Он останавливал станок и снова нажимал кнопку.

— Вы видите, как подходит стол? Он плывет как лебедь, он подкатывает...

Мистер Стрэнг медленно переходил от станка к станку. Не сгибаясь, он молча приподнимал шляпу. Он здоровался. Потом он внимательно вглядывался в работу резцов и вытаскивал из кармана записную книжку. На лице Драйера неподвижно лежала забытая впопыхах улыбка. Он услужливо протягивал инженеру вечное перо и заглядывал сбоку через его руку.

Перед обеденным перерывом переводчица объявила, что мистер Стрэнг хочет говорить с русскими рабочими.

Тесным кольцом они окружили американца. Они откровенно рассматривали малиновый галстух мистера Стрэнга и разговаривали вполголоса.

Мистер Стрэнг задавал вопросы.

— Как установить глубину подачи? Как пользоваться автоматическим остановом? Чем отличается двойной прорезной метод?

После каждого ответа Драйер проглатывал воздух и беспокойно потирал руки. Ответы удовлетворяли мистера Стрэнга. Он одобрительно покачивал головой и молча записывал. Потом он широко махнул шляпой и пригласил Драйера сопровождать его.

Анька, вдруг вспомнив что-то, подняла руку.

— Не можете ли вы сообщить нам формулы к набору шестерен?

— В Америке рабочим не зачем знать формулы.

Драйер сочувственно кивнул и, повернувшись к Аньке, прикрыл рот рукой.

— Но здесь не Америка... Мы должны знать.

Мистер Стрэнг внимательно посмотрел на ее косынку и пожал плечами.

— Он пришлет вам формулы, — сказала переводчица.

На вокзале мистер Стрэнг крепко пожал Драйеру руку и сказал, солидно упаковывая слова:

— Я вами доволен, коллега Чарльз. Я передам мистеру Глиссону, что вы хорошо выполнили его поручение.

На другой день, когда Драйер пришел в цех и сказал: „Хэлло, бой", Колька Таскаев ему не ответил. К нему никто не подходил. У него ничего не спрашивали. В три часа Анька Горбушина молча записала выработку и стала к станку.

Вышли они втроем — Драйер, переводчица и Колька Таскаев. Ветер подхватывал охапки снега и швырял им в лицо. Переводчица защищалась старой, обтрепанной муфтой. В воротах их нагнал Васька Громов.

— Мы возмущены тем, что видели, — взволнованно говорил Колька. — Нам стыдно за вас, Чарльз. Это же гнусный подхалимаж. Вы увивались вокруг этого манекена, как прибитая, поджавшая хвост собачонка.

Драйер вздрогнул и опустил голову. Он молчал.

— Мы думали, что вы — совсем свой парень. Правда, у вас еще очень много предрассудков, мы это видели. Но вы обучали нас работе на этих, совершенно новых для нас машинах не по-чиновничьи, нет, вы работали по-ударному. Нам казалось, что вы искренно стараетесь помочь нашему делу. Разве в Америке вы работали когда-нибудь с таким энтузиазмом?

Драйер протестующе замахал руками.

Он всегда работал добросовестно. Двадцать лет... Он всегда был честным рабочим. Иначе разве доверил бы ему хозяин репутацию своей фирмы? Он говорит, что никогда не был коммунистом.

— Но здесь вы работаете не для фирмы... Вы работаете на советском, на социалистическом заводе. И вот... Вчера мы увидели, что вы — не свободный пролетарий, близкий к пониманию наших задач, а что вы... раб. И вы носите ваши цепи с таким же тупым самодовольством, как этот ваш манекен носит свой попугайский галстук. Мне стыдно было вчера смотреть на ваше унижение. И я до сих пор не понимаю...

— А у меня здорово чесались руки... Скажите ему, — отворачиваясь от ветра, кричал Громов, — что мне очень хотелось съездить этому мистеру в рыло!

Они стояли у крыльца американской столовой. У Драйера обиженно гнулись губы.

— Он просит никогда не говорить ему таких неприятностей. Инженеров надо уважать. Иначе кто бы захотел быть инженером? Они учились, чтобы их уважали. Он говорит, что коммунизм от него очень далек.

Драйер взялся за ручку двери. В столовой кто-то громко смеялся. В раскрытую щель ворвалась шпала колючего снега.

— А все-таки вы подумайте, Чарльз, — кричали ему вдогонку.

Он обернулся, но ветер шумно захлопнул дверь.

III

Драйер помнит — резкий взмах левой руки.

На заводе Глиссона они делали совершенно различную работу. Их разделяло пространство в тридцать метров, заполненное станками и механизмами. Но движения их совпадали: в тот момент, когда Драйер закладывал новую шестерню, тот — другой — протягивал руку к какому-то ящику. Они делали это одновременно. И на секунду взгляды их сталкивались.

Так было больше десятка лет. Шестьдесят раз в день — резкий взмах левой руки. И очень долго цель этого взмаха Драйеру была неизвестна.

Случайно они познакомились.

Джемс Холл работал на сборке. Он был еще совсем молодой парень. Худощавый и малокровный. Его операция состояла из двух движений — левой рукой он брал из ящика трехдюймовый винт, правой рукой он ввинчивал его в суппорт машины.

После работы они выходили вместе. И на улице руки Джемса шевелились. Казалось, он все время хотел что-то схватить. В эти минуты глаза его были совсем пустыми и круглыми. И Драйер воровато прятался от его взгляда.

В субботу за воротами Джемса встречала старая, седая мать. Они ездили в какое-то предместье.

— Вы ничего не замечали? — шептала она, наклоняясь к Драйеру. — Скажите, что он делает там, в мастерской? Пятую ночь я вижу, как двигаются его руки. Я боюсь за его рассудок... Он говорит, что ему очень тяжело, что эта работа давит его...

— Нет, я не замечал, — поспешно говорит Драйер и сворачивает к дому.

Вся фигура Джемса вызывала в нем непонятно-тревожное чувство. Драйер старался не думать об этом. Он стал избегать Джемса.

Но резкий взмах левой руки он видел постоянно. Видел шестьдесят раз в день. И не видеть не мог.

Павлов нагибается к конвейеру и прикрывает ухо рукой. Изо всех углов механической мастерской на Павлова надвигается пестрый грохот станков, автокар, падающей стали. Все это идет мимо. Все это так же привычно, как собственное его, Павлова, дыхание.

Нет, сейчас тут совсем другое. У самого уха он отчетливо слышит щелканье и негромкий прерывистый стук.

— Шум... — уныло говорит Павлов, трогая за рукав бригадира.

— Шу-ум, — сердито передразнивает бригадир. — Разве до шума тут? К концу смены мы должны подать еще сорок коробок. У Форда, братишечка, тоже шум. Где ты видел коробку скоростей без шума? Иди, работай.

Ровно в три Павлов торопливо пробирается сквозь тесные шеренги станков. Пролет зуборезов в самом конце цеха.

— Собирай производственную летучку, — кричит он, наклоняясь к Аньке Горбушиной.

Зуборезы собираются под черной доской брака.

— Неладно, ребята, — говорит Павлов. — За последнее время шум шестеренок в коробке скоростей усилился. Ваша работа. Надо принимать меры.

Вспыхивает протест. Зуборезы вскакивают и обступают Павлова.

— Ты что, проверял нашу работу? С больной головы на здоровую! На конвейере коробку в брак запарывают, а мы виноваты... Спроси у Чарльза — он знает...

Драйер слышит свое имя и подымает голову.

— Спросите его, отчего бывает шум в коробке скоростей?—говорит переводчице Анька.

— Совсем бесшумных шестерен не бывает. Но сильный шум означает неправильность в работе. Могут быть разные причины...

Павлов морщится и машет рукой.

— Это мы и так знаем, чего он лекцию читает! Поймите вы,—десятки наших коробок идутв брак. А они и так в дефиците! Рвется поток. Предлагаю—объявить поход на коробку скоростей! Чтоб не она нас, а мы ее!

Мистер Стрэнг, инженер, младший механик механической мастерской в Рочестере, усовершенствовал зуборезный станок фирмы „Глиссон".

Двадцать лет Чарльз Драйер нарезал на гладком теле шестерни острые зубы. Это делали он и его станок. Рядом, на обыкновенном чугунном столе, старый немец Казимир Гарниш шлифовал эти зубья обыкновенным напильником. Операция немца называлась—зачистка заусениц.

Когда в первый раз Казимир Гарниш пришел к этому столу и взял в руки напильник, этого не помнит ни Драйер ни даже сам Казимир Гарниш. Это было очень давно. И никто на заводе не работал так добросовестно, как Казимир Гарниш. Он никогда в жизни не держал в руках ничего, кроме напильника.

Теперь операция немца перешла к Драйеру. Его станок стал не только нарезать зубья шестерни, но и автоматически зачищал заусеницы.

Прямо из конторы Гарниш пришел к своему, упраздненному отныне столу. Он долго стоял перед ним, беззвучно шевеля губами. Драйер искоса оглядывал его, сменяя деталь. Казалось, старик что-то высчитывал.

Потом он подошел к станку Драйера и внимательно следил за его работой. Он одел очки и тщательно исследовал каждый зуб начисто обработанной шестерни. Над бровями старика нависали глубокие морщины. У него было такое лицо, как будто он испытывал физическую боль.

Да, станок действительно зачищал заусеницы. И он делал это нисколько не хуже, чем напильник старого немца.

— Ну что ж, прощайте, Чарльз,—тихо сказал Гарниш.

Конечно, не он же, не Драйер был виноват в том, что старик лишился работы. Да и кто вообще был виноват—Драйер не знал. Но в ту минуту он не мог посмотреть Гарнишу прямо в глаза.

Перегнувшись через станок, Драйер молча протянул ему руку.

На одном из молотов легкой кузницы повис короткий и яркий плакат—„Сквозная по коробке скоростей"

Здесь впервые рождается шестерня. Еще не оформившаяся и беззубая. Отсюда поток идет через токарей, через зуборезов—на сборку. И каждая станция на пути следования шестерни отмечена тем же плакатом—„Сквозная..."

В обеденный перерыв Анька Горбушина и Павлов пришли к кузнецам.

— Все мы делаем одну и ту же деталь,— говорила Анька, толкая ногой еще не остывшее стальное кольцо. — Вот она. Вы ее откуете, токари расточат, мы нарежем ей зубы, а он поставит ее на нужное место в коробку. Но до сих пор мы не знали, как вы ее куете, какие у вас трудности, вы не знали, как мы ее нарезаем и почему у нас бывает брак. Каждый работал только за себя. И вот оказалось, что мы даем ее слишком мало, мы задерживаем выпуск тракторов, и потом... Шум!.. Больше так не должно быть. Шум мы должны изжить, товарищи. Никакого шума! И мы должны давать этой шестерни гораздо больше. А потому... Давайте поинтересуемся, что делает, чем дышит каждый из нас. Давайте посмотрим, откуда и куда идет наша шестеренка и что она терпит на своем пути...

Павлов, наклонившись, рассматривал штамп парового молота.

— А здесь не кривит он, ребята, а?

Утро. Чарльз Драйер нелепо топчется среди улицы. Он делает вид, что интересуется витриной шляп.

Одним концом своим улица упирается в машиностроительный завод „Глиссон", другой конец может привести Драйера к его собственному дому. Он не знает, который конец он должен избрать. Оба конца длинной непроснувшейся улицы приведут его к неприятностям.

На заводе „Глиссон" вчера объявлена забастовка.

За его спиной сердито рявкает карета скорой помощи. Кто-то выходит из соседних ворот, постукивая тяжелыми башмаками. Гаснут фонари. Вспыхивает короткий заводский гудок. Драйер отворачивается от витрины и медленно идет на его призыв.

Его догоняет нестройный топот. Крики, барабанный бой, пронзительный свист.

Драйер прислоняется к решетке кондитерской. Он видит широкую разбросанную толпу. Толпа нестойчиво наступает на Драйера. Впереди — спокойные, взрослые, высокие. Позади и с боков—шумные, маленькие, горластые. Они бьют в барабаны, в тарелки, в кастрюли, дудят в трубы и в самодельные фаготы, дико свистят, заложив три пальца в рот... Они кричат:

— Позор штрейкбрехерам, позор подкупленным мерзавцам, позор!

Над головой Драйера шумно распахиваются окна. Сотни голодных детей выбегают из ворот с дудками, свистульками и с посудой. Крики и дикий рев разбухают, кипят, расплескиваются во всю ширину улицы, бушующим потоком бегут вперед.

Драйер решительно поворачивает назад. Он идет быстро, не оглядываясь, не замедляя шага.

На столе—лоснящаяся, праздничная коробка скоростей. Возле стола—очередь. Все — серьезные и торжественные, Один за другим они прикладывают ухо к сердцу коробки и напряженно хмурятся.

— Легкий шум!

— Как будто сосет!

— Да не слышно же, ничего не слышно, ребята!

— Пустите Чарльза. Ну-ка, пусть скажет!

Драйер, покачиваясь, опускается на колени и закрывает свободное ухо. Вокруг становится

тихо. Кто-то осторожно переступает с ноги на ногу. Жадно раскрываются рты.

Он встает улыбающийся и растерянный.

Он никогда не слышал такого чистого дыхания. Он—старый рабочий „Глиссона". Он был у Форда и у Мак-Кормика. Ему трудно поверить...

Павлов смущенно опускает глаза. Анька возбуждена, взволнована, она не может молчать:

— Ребятки, вот она — лучший агитатор за сквозную бригаду,—говорит Анька, поглаживая сияющую крышку коробки.

— В музей истории завода—так, что ли?

Колька Таскаев весело подмигивает Драйеру.

— Нина, скажите ему,—предлагает Колька,— что завтра после работы мы идем в литейный штурмовать обрубку. Обрубщики задерживают корпус коробки. Предлагаем ему вступить в сквозную и завтра принять боевое крещение. Никто не возражает?

— Конечно, нет. Послушаем, что он скажет.

Переводчица говорит долго. Она путается в непереводимых словах.

— Он говорит, что это нехорошо, он говорит, что нельзя подводить обрубщиков. Он не хочет быть штрейкбрехером,—это позорно.

Пораженные „сквозняки" таращат глаза.

— Что он с ума сошел? При чем тут штрейкбрехеры?

И вдруг Колька Таскаев откидывается назад от восторга.

— Ой, чуда-як!—взвизгивает Колька, давясь от смеха.—Ну и чудак! Нина, объясните ему..

Драйер растерянно и часто моргает. Его толстая шея становится красной и мокрой, как свежее колесо трактора.

Он ощупью отыскивает туфли. Он вкладывает свои ноги в их глубоко раскрытые клювы. Разжиженный сумрак комнаты расступается перед ним.

За окном — поселок. За окном—снег, испуганные одиночеством прутики будущего сада...

Драйер подходит к столу, наклоняет графин. Сонно бормочет разбуженная вода. Он вытирает рукавом губы и снова обреченно ложится в постель.

Это — бессонница.

Большие и маленькие события, люди, слова выскакивают перед ним, как клавиши. Они запутываются в сложные гаммы. Они оглушают диссонансами и звонко кувыркаются в памяти.

— Как, вы не знаете формул к наборам шестерен?—язвит кто-то, ехидный и неприметный.

— Двадцать лет станок висел над твоей жизнью, как купол, — кричит кто-то высокий и страшный.—Ты думал, что хватать с этого купола звезды — кощунство? Посмотри на свою ученицу: комсомолка, девчонка спокойно кладет их в карман, как будто они — пироги.

— Подхалим! Тихоня!—орет Казимир Гарниш и хватает его за горло. И левая рука Джемса монотонно качается возле его носа, чуть-чуть задевая его.

Перед ним проходит парад вещей: напильник старого немца и светящийся в небе плакат хозяина, и шляпы, распирающие витрину, и красная косынка его ученицы Аньки, и малиновый галстук мистера Стрэнга, и важная, большая, как остров, коробка скоростей. Коробка движется на него бесшумно. Сердце ее бьется так тихо, как будто она боится разбудить его.

Элли Драйер упрямо проталкивалась локтями.

Каждое первое воскресенье каждого месяца она ездит в Нью-Йорк. И каждое воскресенье такая давка.

Прямо с вокзала она прежде всего заезжала к Эмили. Они поочереди становились к зеркалу, и Эмили угощала ее своей губной помадой, которая всегда была самого первого сорта.

Потом они садились в автобус и доезжали до угла Пятой авеню. Огромный мебельный магазин обрушивался на них.

Сначала они рассматривали витрину. И Элли больше всего нравился ореховый гарнитур с розовой отделкой. А Эмили нравился белый. Они очень спорили и входили в магазин справиться о ценах. Молодой приказчик водил их через галлереи кушеток, этажерок и стульев, и доллары перемешивались в их голове, как сахар. Потом приказчик усталым голосом просил извинения и оставлял их среди лучшей мебели Нью-Йорка.

Тогда они садились в какой-нибудь темный угол и мечтали.

— Я жду его на ой неделе, — шептала Элли.—Если хозяин прибавит восемь долларов, тогда мы купим вот тот, с павлинами. А если десять... Она закрывала глаза.—Ну, как ты думаешь, Эмили?

IV

„Благодарю за добросовестно выполненное поручение. Выезжайте. На вокзале Рочестер вас встретит ваша собственная машина. О вашей оплате договоримся на месте. Глиссон".

Драйер спокойно сложил телеграмму вчетверо и сунул в карман.

Падал легкий и мягкий снег. Было слышно, как в кузнице тяжело ударял молот. Драйер подошел к своей двери и долго ковырял ключом в скважине. И когда ключ уже повернулся в замке, он вдруг почувствовал, что не хочет домой.

Он шел через заводский двор. Снаружи все было совсем как в Рочестере. Плоские цехи... Сдавленный грохот...

Драйер останавливался и слушал.

И теперь он улавливал в обычном рокоте завода что-то особенное, неповторимое. За стенами цехов он чувствовал людей, он почти осязал их. Они управляли своими машинами, они по-ве-ле-ва-ли, они говорили на непонятном языке непонятные вещи. Они смотрели на все окружающее так открыто и бесцеремонно, как будто все это принадлежало им...

Драйер слушал и... почти понимал.

В его уши ворвалась песня. Она начиналась где-то рядом. Пели дружно несколько голосов.

Драйер остановился и сбивал с каблука ком снега. Из ворот механической мастерской они двигались ему навстречу. Он узнал их, — это были свои, зуборезы.

Окончание на 81 стр.

ПОВЕСТЬ о мирном существовании деревни Кйори

КАТАОКА ГЭППЕЙ

Рисунки В. БРОДСКОГО

Катаока Гэппей — молодой пролетарский писатель, выдвинувшийся в последние годы рядом рассказов. Принадлежит к „Японской лиге пролетарских писателей" („Нипон пролэтариа сакка домэй"), входящей в состав МОРП. Весной 1931 года осужден на трехлетнее заключение в связи с преследованием компартии в Японии.

Как часто встречается в японской пролетлитературе, рассказ дает не вымышленную, хотя бы и типичную картину, а точное отражение событий, имевших место в указанной в рассказе местности.

Буржуазная цензура жестоко изуродовала рассказ. Вычеркнуты строки и даже целая страница. Но зияющие белые лагуны подчас не менее красноречивы, чем текст, почти не скрывая для внимательного читателя содержания, они остро напоминают о тех условиях „свободы печати", в которых приходится работать зарубежным пролетарским писателям.

I

Уезд Кидзен провинции Рикудзэн — префектуры Иватэ — глухая местность вдали от железных дорог. С трех сторон он окружен высоко громоздящимися горными пиками, с четвертой омывается водами Тихого океана. А деревня Кйори находится в самом глухом, заброшенном месте всего уезда: рыбацкий поселок на оконечности мыса. Чтобы попасть в соседний город, надо либо пройти четыре ри [1] по горной дороге до Сакари-Мати, либо сесть на пароходик, отходящий раз в день, и, разрезая подступающие к мысу бурные волны, добраться до бухты Офунадо-ван.

Но и эта заброшенная рыбацкая деревня подчинялась общим экономическим законам: ее население подразделялось на два класса. И здесь имелась своя мелкая буржуазия, сплачивающаяся под защитой власти трех братьев Ямамура — старшины деревни, начальника почты и заведующего школой, и трудящиеся бедняки-рыбаки.

Начальник почты Ямамура Озиро, владыка этого заброшенного королевства, прекрасно сознавал возможность вершить дела по полному своему произволу. Надо же было как следует использовать эту возможность.

У берегов деревни Кйори было расположено первое в Японии месторождение аваби; здесь их собирали, сушили и вывозили в Китай. Чорт знает, в какое кушанье употребляли китайцы эти твердые, сухие аваби. Как бы там ни было, когда наступал сезон ловли, издалека из Кобе наезжали купцы. И поэтому сумма, из года в год доставшаяся рыбакам, достигала шести десяти тысяч иен.

Известно, что не всякий рыболовный участок принадлежит трудящимся рыбакам. Рыбаки арендуют его в министерстве земледелия, им, так сказать, „дают работать". Так же обстояло и с месторождением аваби у деревни Кйори. Рыболовная артель деревни Кйори арендовала его у министерства.

Председателем этой рыболовной артели должен был быть человек, который умел бы с помощью местных заправил держать в подчинении массу рыбацкого населения. Трудящиеся не годятся для занятия важных должностей, — это положение с неведомых пор стало привычным для населения. Вернее, японских бедняков столетия принуждали привыкнуть к такому образу мыслей.

Так как рыболовная артель официально арендовала участок, ей приходилось иметь дело с чиновниками префектуры. Если бы председателем артели был рыбак, чиновники его не ставили бы ни во что, — из-за этого-то невозможно было избрать председателем рыбака. Правящему классу было вовсе нежелательно, чтобы рыболовная артель, состоящая из трудящихся, управлялась кем-либо из числа этих трудящихся.

Вот почему никто не находил ничего странного в том, что в этой деревне председателем рыболовной артели оказался не рыбак. Сами рыбаки считали это в порядке вещей.

В деревне Кйори старшина Ямамура Итиро был председателем рыболовной артели.

Рыболовная артель, председателем которой состоял старший брат семьи Ямамура, — стоило братьям столковаться, и им не трудно было вертеть ею как угодно. И вот начальник почты Ямамура Озиро задумал: отобрать у рыбаков

[1] Ри — больше трех километров.

участок аваби, приносивший ежегодно доход в шестьдесят тысяч иен.

Однажды к рыбаку Кити пришел Момодзо, представлявший собой нечто в роде приказчика семьи Ямамура.

Усевшись у очага и мигая от дыма, валившего от плохо разгоравшегося хвороста, он два-три раза постучал трубкой.

— Я пришел поговорить с тобой о выгодном деле.

По словам Момодзо, аваби могли дать не только шестьдесят тысяч в год, их можно было добывать больше, гораздо больше, чуть не вдвое. Так-то так, но у артели нет денег и она не может поставить дело на широкую ногу. Пусть хоть все триста человек рыбаков, с острогами в руках, вместе выедут в море, — им в течение разрешенного префектурой недельного срока сбора не заработать больше шестьдесяти тысяч. А вот если бы поставить дело широко, организованно, с помощью водолазов, доход членов артели повысился бы вдвое. Что здесь нужно во что бы то ни стало — это капитал.

Объяснив все это, Момодзо сказал:

— Вот мы и надумали: надо устроить артель не из одних рыбаков, а ввести туда денежных людей, — вот мы что придумали.

— Вдвое больше? И у меня будет вдвое больше?

— Не то что вдвое! Кити-сан выручит втрое больше.

Это было вступление, затем Момодзо приступил к самому делу.

Начальник почты, деревенский старшина и пришедший им на помощь крупный помещик из Сиракохама, Кадзехая Кусаэмом, образуют задуманную компанию в составе трехсот двадцати акционеров: около двухсот рыбаков, а остальные — лица, финансирующие предприятие. На каждого участника приходится по одной акции. Вновь образованная компания арендует участок у рыболовной артели сроком на десять лет и приступает к добыванию аваби.

В виде платы за аренду участка кампания уплачивает рыболовной артели шестнадцать тысяч иен в год. Эти шестнадцать тысяч распределяются только среди членов таким образом: каждому достается около пятидесяти иен в год. Впрочем пятьдесят иен получают только те члены, которые занимаются исключительно рыболовством; те, у кого имеются побочные занятия, получают сорок иен; наконец среди членов рыболовной артели есть незначительное число и таких, которые вовсе не рыбачат: эти получают по двадцати иен.

Таким образом тремя разными долями распределяются эти шестнадцать тысяч.

Итак, пальцем о палец не ударив, каждый рыбак получает в год пятьдесят иен. Но это всего только часть дохода. Члены прежней рыболовной артели, разумеются, имеют еще право на акцию. Дивидент должен быть по меньшей мере пятьдесят-семьдесят иен. Это вместе с арендной платой составляет уже сто иен.

Но и это еще не весь доход. Так как участком будет владеть компания, то аваби, добытые рыбаком, не принадлежат лично ему. Они — общее достояние. Однако на каждый кан [1] рыбак получает от компании заработную плату. Плата за один кан — двадцать иен; один человек за день может добывать пятьдесят кан, то есть заработать 10 иен. Если в семье работают три человека, они за недельный сезон работы выручат двести иен. Если прибавить к этому прежние сто, получится доход уже в триста иен.

— И это еще не все! — Момодзо понизил голос. — Для тебя будет кое-что получше! Господин начальник сделает тебя смотрителем и даст тебе жалованья тридцать иен в месяц — значит всего в год триста шестьдесят иен. Смотритель должен будет следить за тем, чтобы рыбаки соседних деревень не крали аваби. Одно это даст тебе шестьсот шестьдесят иен. Но и это еще не все! Хорошо бы тебе потолковать с рыбаками насчет образования этой самой компании. А за хлопоты — за это ты сможешь взять две акции вместо одной. Дивиденд с этих двух акций будет сто иен, все же вместе составит семьсот шестьдесят иен. А ведь дивидент будет расти — дойдет до восьмисот, до тысячи иен... Это уже не вдвое и даже не втрое, хэ-хэ-хэ... Только покупай.

Кити слушал молча, но на душе у него все светлело и прояснялось. Триста иен в год, а с дивидендом — и вся тысяча! Если это не нежданное-негаданное счастье, то что же это такое? Кити подумал о том, что у него двести двадцать или двести тридцать иен долгу, которые надо во что бы то ни стало в этом году вернуть. Жизнь без долгов — она ждала его за порогом. При этой мысли ему показалось, как будто по его дому, закопченному долголетним дымом от очага, стал разливаться какой-то свет.

— Ну как? Согласен?

Когда Момодзо заручился его согласием, на редко смеявшемся лице Кити появилась улыбка.

Момодзо, ушедший сразу после окончания разговора, немного погодя вернулся и снова ступил на земляной пол прихожей,

— Выйди-ка сюда!

Кити вскочил и вышел к нему.

— Что тебя сделают смотрителем, об этом никто не должен знать, — шепнул Момодзо, приблизив губы к самому уху Кити.

— Наконец-то привалило счастье!

Когда Момодзо ушел, Кити стал без толку совать хворост в печку. Надо было, чтобы она пылала, — иначе ему некуда было девать свое возбуждение. В душе у него все так и кричало: „Восемьсот иен! Тысяча иен!“

А в это время Момодзо, с висячим фонарем в руках, уже шел от этой бухты к другой. Вот он подошел к дому рыбака Сюнске.

— Добрый вечер! Добрый вечер! Кто-нибудь дома? — окликнул он громким голосом.

Однако нашлись среди рыбаков и противники нового проекта.

— Да ведь доход подымется вдвое! — говорили им.

— То, что раньше доставалось ста семидесяти рыбакам, теперь пойдет на триста двадцать человек. Куда уж тут вдвое!

Те, кто рассчитывал приобрести дополнительную акцию, всеми силами старались переубедить эту оппозицию.

[1] Кан — 3,75 килограмма.

Отец Тайокити, Гэн, тоже был в числе противников. Он чувствовал, что за этими сладкими речами кроется какая-те каверза начальника почты, и думал, что надо быть настороже.

Но уже ничего нельзя было поделать. Рыболовная артель постановила продать новой компании свое почти единственное достояние — месторождение аваби — сроком на десять лет. Министерство признало новую организацию, дающую тремстам двадцати членам по одной акции, вполне удовлетворяющей требованиям закона, — и компания по добыче аваби была утверждена.

Отец Тайокити, Гэн получил извещение, что до 20 марта ему надлежит получить акцию, а для этого явиться в контору банка К. Для получения акции требовалось представить в залог десять иен.

Всем ста семидесяти рыбакам было послано такое извещение. Странное дело, дополнительную акцию получили только десять человек, хотя на нее и рассчитывали все те, кто дал согласие с самого начала...

Собрать десять иен залога, требующиеся для получения акции — это для рыбаков было не так-то легко. Доставали последние деньги, добытые потом и кровью. Когда настал срок — двадцатое марта, кой-как наскребли эти десять иен, и в этой заброшенной деревушке, насчитывавшей вместе с крестьянами и торговцами едва пятьсот дворов, то там, то здесь замелькали десятииенные бумажки. Казалось, что эти бумажки плящут даже на гребнях бурных волн океана.

Двадцатого марта отец Тайокити, Гэн, с десятью иенами за пазухой, зашел к соседу Умэ-сан.

— Идете? — окликнул его Гэн.

— Зайдите, отдохните!—позвала его изнутри жена Умэ-сан.

Умэ-сан как раз собирался в дорогу. Пока Гэн ждал, жена Умэ-сан угощала его чаем и соленьями.

Вдвоем с Умэ-сан они из Исихама берегом пошли к гавани.

Деревня Кйори состояла из ряда поселков с пятью-шестью бухточками, в центре которых была гавань. Тахама была на мысе слева от гавани, за маленьким, как будто игрушечным перевалом. По ту сторону перевала, за Тахама, у моря был поселок Нономаэ. Фигуры рыбаков, вышедших из этих поселков, скрывались за деревьями береговой горной дороги.

— Все за акциями! — радостно сказал Умэ-сан. Пока они шли берегом, у обоих у них на душе стало как-то легко и мирно. Десять иен лежали за пазухой. А это обезпечивало им по пятьдесят иен дохода в течение следующих десяти лет.

Однако, когда они добрались до банка, они увидели, что перед окошком взволнованно шумят человек двадцать рыбаков.

— Что такое?

Они подошли ближе. Кити был бледен.

— Опоздали, — все пропало.

— Опоздали?

— Говорят, будто они закрывают ровно в двенадцать, — вмешался рыбак Сйокити с налитыми кровью глазами.

Гэн, не помня себя, растолкал людей, подошел к окошку и крикнул:

— Я принес десять иен.

— Поздно. В полдень у нас закрывается, —холодно возразил чиновник.

— Но как же... как же я останусь без акции?

— Все закрывается в свое время. А если хлопать глазами...

— В извещении было написано, что срок до двадцатого. Там ничего не было сказано, что только до двенадцати.

— Довольно разговоров!

Чиновник склонился над конторкой и даже не оглянулся.

— Мерзавец!

Рыбаки молча переглянулись. В это время в контору по три-пять человек вместе вошли рыбаки из Сирахама, Кодзихама, Тахама.

— Эй, опоздали, опоздали! — разом крикнули вновь пришедшие.

„Ну, десять иен спасено!“ — подумали некоторые. Но гораздо больше было таких, которым казалось, что они потеряли какую-то драгоценность.

Рыбаки со своими десятииенными бумажками один за другим ринулись к выходу. Тесная прихожая банка наполнилась людьми; рыбаки высыпали на улицу.

Одурачены! Они ничего не могли поделать с подмывавшим их возмущением и только горько переругивались.

Из ста семидесяти рыбаков до полудня за акциями пришло не более пятидесяти. Капиталисты неожиданным ударом лишили трудящихся акций. Теперь остальные двести шестьдесят или семьдесят акций будут распределены среди нескольких богачей. И следовательно для большинства рыбаков от авати оставался только доход из пятидесяти иен арендной платы да заработка в двадцать сен с каждого кана. Таким образом основное положение компании, на которое испрашивалось разрешение министерства — „равномерное распределение трехсот двадцати акций“ — оказалось ловким обманом.

В конце этого года Гэн ждал своих пятидесяти иен больше, чем кто-либо другой. Он давно уже задолжал деревенскому ростовщику и с него требовали уплаты ста двадцати иен. Он понимал, что пятидесяти иен ему все равно никак не хватит; но Гэн надеялся, что если он хоть сколько-нибудь уплатит, потом можно будет как-нибудь сговориться.

Но в этом году с него требовали уплаты в несколько раз строже, чем обычно. Когда он сказал, что во всяком случае в конце года внесет пятьдесят иен, а до тех пор просит подождать, ростовщик сделал вид, что он этого никак не ожидал.

— Пятьдесят иен? Только всего?

— Видите ли, аваби теперь уже не наши, сто двадцать иен мне никак не собрать.

— Что ж, не можешь — заберу дом.

Гэн замер. Но, раз требовали уплаты долга — ничего не поделаешь; почти с угодливостью голосе, он наконец сказал:

— Хорошо, я доставлю сто двадцать иен.

Дальше итти было некуда.

Если у него отнимут и дом, ему только и останется умереть!

Но срок наступал, а он не видел, откуда добыть эти деньги. Гэн цеплялся за самую призрачную надежду, рыскал где только возможно.

Он поведал свое горе товарищу, рыбаку Ядзю.

— И ты? — нахмурился Ядзю. — И меня этот начальник донимает. Восемьдесят иен! Придется уж как-нибудь к концу года раздобыть остальные тридцать иен.

— Тебе только тридцать — это что! — вздохнул Гэн.

— Как что! — Ядзю был мрачен.

Не с одного Гэна и Ядзю требовали уплаты долга. Обычно большинство рыбаков было в долгу у деревенских богатеев — у семьи Ямамура или у кого-нибудь из его присных — на сто, двести иен, надеясь вернуть долг доходом от добычи аваби.

У всех у них теперь строго требовали уплаты. И, как будто сговорившись, им угрожали, в случае неуплаты, отнять дом.

Да, все они рассчитывали вернуть долг деньгами, вырученными за аваби в сезон ловли, в конце года. Но аваби стали собственностью компании. Коль скоро так, у них не оставалось никакой возможности вернуть долг.

Завтра. Завтра день распределения арендной платы.

Арендная плата уплачивалась кампанией по добыче аваби за аренду участка у рыболовной артели в размере шестнадцати тысяч ежегодно. Накануне того дня, когда каждый член артели должен был получить свои пятьдесят иен, к рыбаку Гэну пришел старик-ростовщик.

— Собрал сто двадцать иен? — хихикнул ростовщик.

Гэн молчал.

И вот ростовщик предложил ему нечто неожиданное. А именно, что ему, Гэну, господа готовы одолжить пятьсот иен.

— Компания может одолжить тебе пять сот иен. Хочешь?

— Если можно... — ответил Гэн; но подумал, что это что-то черезчур хорошо.

Однако на другой день Гэн с более легкой душой, вместе с ростовщиком, отправился в контору компании. Момодзо, который вел дела в конторе, провел его и ростовщика в заднюю комнату.

В этой комнате было холодно. Гэн и ростовщик сели против Момодзо. Момодзо сухо молчал и даже не спросил, в чем дело.

Гэн бросил на ростовщика умоляющий взгляд, но и тот молчал. Волей-неволей пришлось самому заговорить.

— Мне сказали, что вы можете одолжить мне денег...

— Печать [1] принес? — спросил Момодзо без признака улыбки.

Гэн ответил, что принес.

— Тебе может быть одолжено пятьсот иен, то есть выплачена авансом арендная плата, которую компания уплачивает артели.

Пауза...

— Ты должен получать пятьдесят иен в год. Договор заключен на десять лет, значит за эти десять лет вам всего причитается пятьсот иен.

---

[1] Личные печати широко распространены в Японии. Печать заменяет собственноручную подпись и потому необходима при совершении всякой сделки и т. п.

Эти пятьсот иен можно выдать сегодня сразу. Хорошо?

Гэн опустил голову и соображал. Момодзо и ростовщик смотрели на него как будто с сожалением. Гэн подумал, что, как ни верти, как будто ничего плохого в этом нет, и сказал, что согласен. Момодзо и ростовщик быстро обменялись многозначительным взглядом.

— Но если уплатить авансом пятьсот иен, причитающиеся за десять лет, надо учесть десятилетние проценты. Ты это знаешь? — сказал Момодзо.

Гэн кивнул. Момодзо встал и вышел в соседнюю комнату. Через минуту он вернулся.

— За вычетом процентов за десять лет тебе причитается двести иен.

— Не надо! — чуть не вскрикнул Гэн. — Раз вычитают проценты — не надо!

— А ты думал, что пятьсот иен дают даром?

Момодзо язвительно засмеялся.

— Мм...

Он и хотел бы стерпеть, но ничего не мог поделать со стоном, невольно вырвавшимся из горла. Теперь все стало ясно. Негодяи воспользовались его беспомощностью и хотят свести пятьсот иен дохода к двухстам. Гэн был так возмущен, что готов был наброситься на сидящего перед ним Момодзо. Но что бы из этого вышло? Он все думал, лишь бы его не обманули.

— Вот как? не надо? А как же ты достанешь сто двадцать иен, которые ты мне должен?

— Мм...

Как он ни сдерживался, стон, точно сжатая пружина, так и вырывался из горла. Комок, подступавший из груди, становился все горячей. Гнев превращался в мучительную боль.

— Хорошо. Пусть будет двести иен, — хорошо.

Он понимал, что его надули у него же на глазах, но что же поделать?.. Могли бы забрать дом... пришлось бы плохо... Так уж лучше разом получить вместо пятисот — двести иен. К тому же... — так Гэн утешал сам себя. — Да и на что ему по пятидесяти иен в год? Когда он пришел к этой мысли, эти двести иен стали ему так желанны, что он готов был в них вцепиться. Если он и дальше будет хлопать глазами, у него заберут и эти двести иен, и это уже будет непоправимо.

— Да, за десять лет процентов накопится порядочно, — сказал тогда Гэн, как будто подлаживаясь к собеседникам, и засмеялся.

— Да, деньги — штука серьезная, — насмешливо сказал Момодзо. — Ну, печать!

Гэн получил двести иен, но из них сто двадцать тут же были забраны ростовщиком, так что на руках у него осталось всего восемьдесят иен. Сначала он лишился акций компании, организованной рыбаками после продажи принадлежащего всем им участка. Теперь у него выманили и арендную плату, причитавшуюся ему как члену рыболовной артели... Все это похитили у него деревенские богатеи. И все, что у него после этого грабежа осталось, это — восемьдесят иен.

Не одному Гэну предъявили в конце года строгое требование уплатить долг, и рыбаков, у которых таким образом забрали арендную

плату, было не перечесть. Они знали, что условие, по которому они должны были не шевеля пальцем получать ежегодно пятьдесят иен в течение десяти лет, расторгнуто за ничтожную сумму — и хлопали глазами, как сонные муки.

И тем не менее эти честные малые долго не догадывались, что единодушное строгое требование уплаты долга, предъявленное в конце года богатеями, был маневр, предпринятый для того, чтобы выудить у рыбаков право на получение арендной платы.

Капиталисты уже обобрали рыбаков почти дочиста. Им напоследок оставалось только отнять акции, имевшиеся всего у пятидесяти рыбаков.

Теперь капиталисты косились на этих пятьдесят акционеров и подготовляли последнюю махинацию.

Несмотря на устное обещание Момодзо, рыбак Кити так и не получил дополнительной акции. Мало этого, и должность смотрителя, дающая тридцать иен в месяц, досталась брату Момодзо. Потом оказалось, что Момодзо обещал должность смотрителя не одному Кити... И вот Кити снова стал редко смеющимся человеком. Жизнь без долгов — он понял, что такая жизнь для бедного рыбака — несуразная мечта.

Но так как Кити двадцатого марта случайно прибежал в банк до полудня, он оказался одним из пятидесяти счастливцев, которым удалось приобрести по одной акции компании.

Итак, хотя Кити из-за долгов тоже потерял право на получение арендной платы, но акция у него еще оставалась. Однако скоро он перестал понимать, зачем она ему нужна.

Не один Кити, — остальные пятьдесят акционеров тоже стали ломать голову, на что им эти

акции. В течение трех лет со времени образования компании на акции не было никакого дивиденда.

Рыбаки-акционеры обманулись в расчетах. Кити пришел в отчаяние, и не только поэтому. По словам Момодзо, при заработной плате в двадцать иен с кана и при работе трех членов семьи за неделю ловли можно выручить двести иен. Но ему не надо было долго размышлять, — из прежнего долголетнего опыта он убедился, что и этот расчет не может оправдаться.

Каким образом он тогда поддался словам Момодзо, как даже не удивился такому странному расчету? Ведь он — не новичок. Это было положительно странно. Три человека, работая вместе, могли набрать за день самое большое пятьдесят кан. Правда, бывали случаи, что в удачные дни опытный рыбак один набирал в день девяносто кан. Но такие случаи поистине были редки. К тому же за один кан платили двадцать сен только первый год, а со второго года под предлогом кризисов стали платить только пятнадцать.

В тихий зимний день Кити с двумя младшими братьями выплыли в лодке из своего поселка Исихама. До середины залива было мелко и острога на коротком шесте доставала до дна. Через очки [1] на синем светлом дне виднелись аваби, похожие на большие слепые глазные яблоки. Одной рукой ухватывали острогу, намечали добычу. Одним ударом вонзали. Быстро вытаскивали. Конец шеста поднимался высоко в воздух, и аваби, синие, темные, сверкая, блистая, падали в лодку. Брызги холодной воды попадали в лицо. Братья поочереди гребли и постепенно выплывали все дальше в море. Когда, выйдя из бухты, огибали мыс, в открытом море высоко вздымались волны. Далеко у рифов белели и взметывалась пена... Шест остроги надо было менять на длинный. И аваби, по мере того как море делалось глубже, попадались все более крупные.

Так, пока три брата работали, в лодке набиралось тридцать, сорок, в удачные дни семьдесят кан свежих аваби.

Но набери они и семьдесят кан, все равно это не принадлежало им. За плату в пятнадцать сен с кана, они должны были отдавать все компании. Значит за семьдесят кан — десять иен пятьдесят сен.

А как же было три года назад, во время свободного лова? Аваби принадлежали рыбакам, кто бы сколько ни собрал. Рыночная цена была от двух иен до двух иен тридцати сен за кан. Значит за семьдесят кан получалось сто сорок пять иен.

Да, нелепо и смешно было, думая об этом, сидеть скрючившись в лодке и гнаться за аваби. Чорт возьми! Есть более дурацкое занятие!

И все-таки рыбаки не могли бросить остроги в море и повернуть лодки к берегу: как бы ни эксплоатировала их компания, попавшая в руки нескольких человек, но если бы рыбаки потеряли заработок в пятнадцать сен с кана, они лишились бы даже ячменной каши.

---

[1] Японские нырильщики употребляют маленькую маску с очками, особой конструкции.

Что же оставалось делать рыбакам деревни Кйори, когда добывать аваби стало бесполезно? Молодежь, окончившая начальную школу, постепенно стала уходить с родных мест. Направлялись в Такадако в том же уезде Кидзэм или в Мориока, в Сэндай, в Токио, чтобы служить, торговать, работать.

И вот в это время по деревне распространился тревожный слух.

— Китайцы перестали есть аваби!

Вот какой это был слух.

Отчего китайцы, так любившие аваби, перестали их есть? Об этом никто ничего не знал.

Если китайцы перестали есть аваби, это несомненно должно было нанести компании смертельный удар. Действительно, и старшина деревни, и начальник почты, и заведующий делами Момодзо, все ходили бледные и плакались каждому встречному.

— Через год-два наша компания лопнет,— бросали они, как будто шутя, при встрече с кем-нибудь.

Сразу же этот слух побежал от бухты к бухте. Китайцы-де перестали есть аваби, у экспорта аваби нет будущего, и значит компании только и остается ликвидироваться. Из-за этого кризиса и начальник и старшина последнее время совсем приуныли. А начальник давеча даже поругался с женой и набрасывается на всех и каждого.

Тогда помещик Кадзахая-Кусаэмон, братья Ямамура — старшина деревни, начальник почты и заведующий школой — разослали во все стороны агентов. „Акции компании теперь превратились в клочки бумаги, которых никто и даром не возьмет. Но пока что их еще купят по сорок иен", — говорили всем агенты.

Честные рыбаки-акционеры призадумались. В самом деле, акция, которая за три года не принесла ни гроша дивиденда, только истлевала в руках у ее владельца. К тому же китайцы перестали есть аваби. Это тоже надо было принять во внимание. Теперь эту акцию никто и даром не возьмет, это правда. А ее можно продать за сорок иен. Лучше и желать нечего!

Рыбаки, владевшие акциями, один за другим стали сбывать их с рук. Агенты капиталистов сбились с ног; каждый старался скупить хоть на одну акцию больше. Продал один рыбак, продал другой, третий, а когда об этом прослышали, стали продавать все наперебой. С каждым днем все больше.

Однако, когда число продающих стало расти в возрастающей прогрессии, капиталисты увидели и тут лазейку, которой они и не преминули воспользоваться.

— За сорок иен больше не берем. За двадцать пять пожалуй...

Потом с двадцати пяти они спустили до двадцати. Некоторые все же продавали, говоря, что это лучше, чем отдать даром.

Только человек семнадцать - восемнадцать упрямых рыбаков ни за что не хотели расстаться с акциями. Кити был одним из них.

Но и Кити был поражен, узнав, сколько народу продало свои акции. Раз уже все продают, значит он ошибся, что не сделал этого до сих пор. А ведь можно было продать за сорок иен.

А говорят, теперь цена акций упала до двадцати иен. Если упустить и это, они пойдут даром. Кити казалось, что теперь еще не поздно. Да, он пойдет к Момодзо, тот купит у него за тридцать. Еще когда образовалась компания, в самом начале, Момодзо обещал Кити дополнительную акцию, должность смотрителя и все такое, а из этого ничего не вышло. Он должен теперь войти в положение Кити. Поэтому, если Кити попросит его купить за тридцать иен, он не должен ему отказать! Так думал Кити.

— Момодзо-сан здесь?

Кити заглянул в контору компании и поманил рукой. Втянув руки в темные шерстяные рукава, Момодзо вышел за дверь. С одного взгляда на его лицо Кити понял, что просить его купить акцию за тридцать иен совершенно бесполезно. И действительно, как только он заговорил об акциях, Момодзо всем своим видом показал, что это — напрасный разговор.

— Во всеуслышание не могу сказать, но думаю, что компания в этом году лопнет. Китайцы совсем перестали есть аваби, — понизив голос, сказал Момодзо. — Теперь акции такой компании никто и даром не возьмет.

Кити, не сдаваясь, стал плакаться по поводу дополнительной акции и должности смотрителя. Тогда Момодзо пошевелил рукой, засунутой за пазуху.

— Это все-таки лучше, чем даром. — И он вытащил коробку папирос и протянул ее Кити. — Здесь еще есть семь-восемь штук. Лучше, чем даром.

Даже семь-восемь папирос лучше, чем даром. Это правда. И Кити обменял свою акцию на коробку папирос.

Когда Кити ушел, Момодзо, посмеиваясь, уселся у печки. Там были начальник почты и деревенский торговец, пришедшие по делу. Так как Момодзо не переставал посмеиваться, они спросили:

— В чем дело? Что смешного?

— Получил! Получил! — посмеивался тот.

— Акцию?

— Да. У Кити. Выменял на коробку папирос.

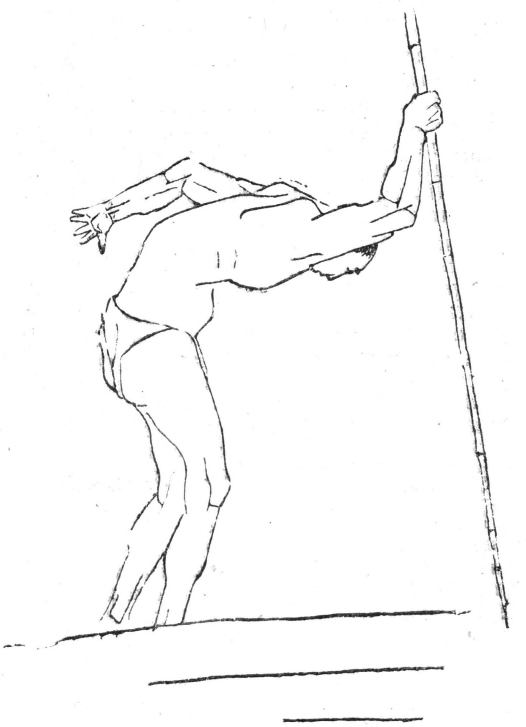
— На коробку папирос! Правда?

Они тоже разразились громким хохотом. И начальник почты, шевеля своими густыми бровями, в восхищении пробормотал:

— Ловкий парень этот Момодзо, ловкий парень!

Когда у рыбаков выманили акции, компания вдруг стала платить огромный дивиденд. Когда наступил сезон ловли, в море появилась масса моторных лодок, и белая пена, которую нанятые из других местностей ныряльщики подымали из многофутовой глубины, так и билась и таяла у бортов лодок. Заработная плата в пятнадцать сен с кана опять превратилась в двадцать сен. Китайцы опять стали есть аваби. На каждую акцию пришлось по сто и несколько десятков иен дивиденда. Но все это, конечно, было дело постороннее, никак не касавшееся рыбаков.

Теперь все триста двадцать акций достались небольшому числу заправил. У Кадзэхая Кусаэмон было сто пятьдесят акций. У одних только братьев Ямамура — старшины деревни, начальника почты и заведующего школой — их было



больше ста. То, что китайцы едят аваби, касалось их одних и никого больше.

Море давало аваби на шестьдесят тысяч иен в год. Эти шестьдесят тысяч принадлежали рыбакам, из поколения в поколение добывавшим аваби. И вот появились люди, которые стояли в стороне и, не ударив пальцем о палец, забрали все, что рыбаки добывали для себя своим трудом. Эти грабители прекраснейшим образом преуспели. Засунув руки в карманы, благодушно греясь на солнце, они присвоили себе весь доход от аваби.

Аваби, которые до вчерашнего дня рыбаки добывали для себя, сегодня они стали добывать для других. То, что раньше давало им доход в две иены с кана, двести иен за сто кан, теперь они должны были сдавать другим за заработную плату в двадцать иен за сто кан. А бросить это дурацкое занятие — умереть с голоду.

Еще до того, как они были таким образом ограблены, в то время как Кадзэхая и братья Ямамура гнались за сотней акций, рыбаки с целью защитить от захвата свою единственную акцию, чуть не истекая кровью, раздобыли десять залогов. Но и эти с такими мучениями добытые десять иен не могли сберечь их акции. Грабители же без всякого вреда добыли тысячу иен залога за сотню акций. Добыли потому, что банк одобрил весь их план грабежа. Уверенный, что эта авантюра удастся, банк оказывал им полный кредит.

И этот грабеж был совершен с разрешения министерства. Это был „законный“ акт, это была компания „ради процветания деревни“. Процветание деревни в нашу эпоху — это зна-

чит, что трудящиеся должны . . . . . .
. . . . . .[1]
а капиталисты за их счет все больше . . . .

Вот почему в деревне Кйори грабители процветали. Трудящиеся рыбаки видели перед собой этих людей, совершивших грабеж среди белого дня, — и были беспомощны.

Компания ведь находилась под защитой
. . . . . .

II

Была весна 1926 года.

Подымая белые волны на темносинем море, пароходик обогнул мыс и вошел в бухту. На пароходике ехал молодой человек.

Бухта сверкала и искрилась на солнце. На берегу, усеянном галькой, чернели крошечные фигуры играющих детей. Позади гавани стеной возвышались горы. На их вершинах клубились белые облака.

Приезжий смотрел на развертывающийся перед ним вид родной деревни, где он не был уже много лет.

Пароход подошел к пристани.

В сумрачной тени выстроилась вереница темных рыбачьих домиков. На дощатых крышах лежали камни.[2] Эти хмурые, закопченные, жалкие жилища больно поразили взгляд приезжего.

Ради этих рыбаков он — Лономура Кэндзиро — возвращался домой.

— Неприветливо в моей деревне! — пробормотал он про себя, глядя с парохода.

Кэндзиро был уроженец этой деревни. Еще на школьной скамье он отличался способностями. Окончив среднюю школу в Тоно, а потом высшее сельскохозяйственное училище в Мориока, он тотчас же по окончании получил место преподавателя сельскохозяйственного училища в префектуре Гумма.

И вот тогда . . . . . оказала на него сильнейшее влияние. Он стал вдумываться в окружающее, и ему показалось, что он до сих пор ничего не понимал. Он видел, что он не знал даже своей родной деревни.

Когда Кэндзиро последний раз был в деревне, рыбак Ирияма Мохэй из Тахама, сосед его отца, между прочим сказал ему:

— Так уж ведется, что с лица — это одно, а с изнанки — чорт знает что! Вот и компания по ловле аваби: распределим-де акции поровну среди всех членов, будем платить артели арендную плату, — да, с лица-то оно ладно, а вот с изнанки...

Ирияма Мохэй был рыбак средних лет, он был самый стойкий из рыбаков, прекрасно разбирался в вещах и пользовался большой популярностью.

Вернувшись из отпуска, Кэндзиро написал ему письмо. Мохэй ответил. Завязалась переписка, и в результате Кэндзиро решил оставить место преподавателя и вернуться на родину.

За это время в деревне произошло следующее:

---

[1] Этот и все дальнейшие пропуски сделаны в рассказе японской цензурой.

[2] Камни кладут, чтобы ветром не сносило дранки.

Десятилетний срок аренды истекал. И вот председатель рыболовной артели, деревенский старшина, почти самовольно ввел в члены около двухсот человек местных крестьян и торговцев. Объяснение было простое:

— Кто подобрал хоть одну водоросль, тот тоже рыбак.

Ну, а никто из этих торговцев и крестьян, конечно, не заявлял, что, мол, я не подобрал ни одной водоросли.

Впрочем рыбаки и не противодействовали. Десятилетний срок истекал, компании по ловле аваби предстоял распад... а от того, что в артель вступали не рыбаки, им не было ни тепло ни холодно. Скорей наоборот: при вступлении в артель взимался вступительный взнос в пять иен с человека, а артели было на руку получить в эту минуту тысячу иен.

Но Мохэй вдумывался в вещи глубже.

— Двести новых членов артели — это все приспешники начальника почты и старшины. Раз они ввели в артель двести своих сторонников, они могут все гнуть в свою сторону. Они хотят заставить артель опять сдать им участок, — вот в чем дело.

Мохэй написал о своих опасениях Кэндзиро.

И вот теперь этот самый Мохэй со своей мирной улыбкой встречал на пристани Кэндзиро. Хотя ему было только сорок лет, но его голова, на которой не было шляпы, уже слегка облысела и ярко лоснилась на солнце.

— Итак, с сегодняшнего дня — ты наш товарищ!

Кэндзиро спрыгнул с парохода на пристань.

Как только Кэндзиро приехал домой, он по горло втянулся в дела. По мере того как приближался срок общего собрания артели, старшина и начальник все явственней обнаруживали свое намерение опять присвоить участок для компании.

Тяжелый опыт прошедших десяти лет рыбаки не могли забыть. Десять лет угнетения бросили их на самое дно горя и нищеты. В какую бездну они упали бы, если бы им пришлось бедствовать еще десять лет!

Но деревенским богатеям, объединившимся вокруг начальника почты, ничего не стоило довести рыбаков до какой угодно степени нищеты. Ведь и они не могли забыть, как с помощью компании снимали сливки все прошлые десять лет.

Мохэй угадал. Чтобы привлечь двести новых членов артели, старшина и его брат развели такие разговоры:

— Если в артель войдут двести новых членов и если они столкуются, то во всех решениях перевес будет на их стороне. Тогда мы заставим еще раз сдать компании участок. И в таком случае компания будет выплачивать артели двадцать тысяч иен в год. Эти двадцать тысяч будут распределяться среди членов артели. Другими словами, члены артели будут ежегодно получать арендную плату. Те члены, которые не занимаются исключительно рыболовством, получат двадцать пять иен в год. Значит, если вы теперь уплатите пять иен, чтобы вступить в артель, вы сможете без всякой затраты труда ежегодно получать двадцать пять иен.

Кого бы не соблазнили эти сладкие речи? На бедных рыбаков налетели тучей, как мухи, и все с тем, чтобы высосать из них всю кровь, какую только можно было высосать.

Но и с другой стороны не дремали. Кэндзиро вступил в артель и деятельно организовывал среди рыбаков общество взаимопомощи. Кэндзиро и Мохэй обходили все поселки и растолковывали рыбакам положение.

Сто сорок восемь человек из числа ста семидесяти рыбаков вступили в общество взаимопомощи. Остальные двадцать два струсили и, кто из-за денежных обязательств, кто по другим личным соображениям, не решились пойти против начальника почты и старшины.

Сто сорок восемь рыбаков, членов общества взаимопомощи, объединились и поклялись бороться с капиталистами до конца. Среди них был и Тайокити.

Пришло время подняться и свалить негодяев, которые были источником всех его несчастий! Он будет биться в первых рядах,— и при мысли об этом все кругом для него светлело.

Среди них был и Кити, был и Ядзю, был и Умэ-сан — все, кого горечь этих десяти лет напитала до мозга костей, — все собрались под знаменем общества взаимопомощи.

Наступил день общего собрания. Предметом обсуждения была сдача участка в аренду компании. Кэндзиро выступил с возражением. Мохэй поднялся было за ним, но председатель приступил к голосованию.

Между тем заранее было ясно, что сто сорок восемь рыбаков против двухсот остальных членов при голосовании потерпят поражение.

— Мы не намерены голосовать это предложение.

С этими словами сто сорок рыбаков покинули собрание.

Остальные двести с лишним членов решили вопрос по своему усмотрению. Разумеется, было постановлено, что артель сдает участок в аренду компании по ловле аваби еще на десять лет, за арендную плату в двадцать тысяч иен в год.

Устав вновь организованной компании нуждался в новой санкции министерства.

Министерство послало запрос в префектуру Иватэ. На чиновников префектуры уже было оказано соответствующее давление. Совет префектуры ответил, что не имеет никаких препятствий к утверждению устава компании по ловле аваби.

Тем временем Дономура Кэндзиро с тремя другими рыбаками поехали в Токио. Они были в министерстве и приложили все усилия, чтобы осветить истинное положение дел. Но на слова людей, которые были не депутатами, а простыми рыбаками, никто не обратил внимания.

Озабоченный Кэндзиро с товарищами зашли в Родо-Содомэй [1]. Их принял член правления. Элегантной фигурой, бородой и большими лучистыми глазами он напоминал европейца. Однако разговор с ним не принес толку. Он предложил было помощь в конфликте при условии внесения тысячи иен аванса, но в то же время говорил, что еще неизвестно, что из этого выйдет, и в конце концов спросил, не хотят ли они прибегнуть к помощи закона, и направил их к адвокату из партии Минсейто. [1]

Но из свидания с адвокатом не вышло толку.

Так как в решении артели нет ничего противозаконного, то дело безнадежное, — сказал он, покачивая головой. И в качестве гонорара за юридический совет потребовал пять иен. Когда Кэндзиро доставал из платка деньги, у него слегка дрожали руки.

Когда Кэндзиро с товарищами вернулись в деревню, настроение у рыбаков разом вспыхнуло. В помещении школы устроено было собрание.

— Что ни говори, рыбаки не сдавали участка.

— Мы всю жизнь не забудем, как мы мучились эти годы!

— Они пьют нашу кровь, ломают наши кости! Либо мы их сломим, либо они нас с голоду уморят.

Из совета префектуры в деревне, перевалив через горы, переплыв через море, явились чиновники. В числе их был инженер отдела рыболовства, Сэгана. Он зашел к Ирияма Мохэю, дом которого превратился в контору общества взаимопомощи.

— Я прекрасно понимаю все, что вы говорите. Но, подумай, если вы будете упорствовать, мир в деревне будет навеки нарушен. Ведь это и вам будет во вред! Не лучше ли уступить и потерпеть ради того, чтобы сохранить мир в деревне?

— А без того, чтобы рыбаки не перемерли с голоду, мира не будет?

Когда Мохэй со своей спокойной улыбкой договорился до этого, инженер вышел из себя. А, раз так — никаких уступок!

Но вот в деревню пришло сообщение, что устав компании утвержден. Министерство нашло, что для процветания экономики края эта компания — превосходная вещь.

— Теперь никто нам не поможет! — говорили рыбаки. — Так будем же действовать сами, действовать так, как мы хотим.

— Свободный лов!

Рыбаки стали напряженно готовиться к сезону лова.

С могучей груди океана повеяло осенью. Потом море замкнулось, потемнело: над бурными волнами распростерлась зима. А под волнами и на дне, точно насмехаясь, разевали рты аваби.

В ноябре, когда наступил сезон лова, рыбаки стали ждать ясного дня. Компания встревожилась. Была послана телеграмма в полицейское управление в Сакари-Мати — городок, расположенный за перевалом на расстоянии четырех ри от деревни Кйори.

На западе от гавани с перевала шел спуск вниз. Однажды на дороге, обсаженной криптомериями, в тени деревьев показалась группа людей в одинаковых темных форменных одеждах. Полицейские — это были они — рассыпались по

---

[1] Объединение реформистских профсоюзов.

[1] Правая реформистская партия.

деревне, а потом опять собрались на побережьи. Компания принимала меры „защиты“...

Это было спустя два дня. В середине ночи ветер утих, море блестело как отлакированное. В четыре часа ночи сереющее небо было полно звезд. От бухты к бухте побежал гонец. На гальке берега белела курчавая пена прибоя. Гонец бежал, моча ноги в набегающей волне.

И вот вдоль всего берега деревни выстроились лодки. Минута—они отделились от берега. Из Кодзихама, из Исихама, из Сирахама, из Гахама, даже из расположенной за перевалом, позади Тахама, Нономаэ...

Сто сорок членов общества взаимопомощи со своими семьями, всего триста человек, вышли из своих сумрачных домов, из-под крыш с камнями. В предрассветной тьме сто рыбачьих лодок гребли из залива все дальше и дальше в открытое море.

Вдруг раздался пронзительный звук. Это были три большие моторные лодки. В полутьме не разобрать было, кто — чернеющие в них тени. Лодки стали настороже у берега.

Когда сто рыбачьих лодок, которые шли сомкнутым строем, точно флотилия, вышли в середину залива, кругом совсем рассвело.

— Эй!

— Держись крепче!

— Здорово, а!

Голоса перекликающихся с лодок долгим звуком разносились над свинцово поблескивающим морем. Триста рыбаков разом взялись за лов. Мысль, что добытые сегодня аваби принадлежат им самим, вливала новую силу в руку, держащую острогу. На конце шеста длиной в целый кэн [1] сверкало отточенное острее остроги. Эти бесчисленные длинные шесты колебались, как волнующийся лес. Под водой аваби глазели на лодки. Нацеливщись, шесты на мгновение замирали. Разом вонзались. Разом поднимались. Аваби, сверкающие на концах высоко вздетых шестов... Стекающие брызги...

Сто лодок заполнили почти весь залив. Потом они вышли из залива и рассеялись по открытому морю. На море поднялось волнение. Целиться стало трудно. Темп движения шестов расстроился. Но скоро опять вошел в такт. Наладившись, они опять ритмически зашевелились. Широкая водная гладь вся была заполнена лодками, они двигались вперемежку, взад и вперед, скрещивались и расходились.

У входа в залив три моторных лодки плавно скользнули, косясь на гавань.

И вот на пристани показались полицейские.

Похоже было как будто на доску сыплют темный горох. Вся пристань наполнилась ими. Одного столкнули, он упал в воду, подымая брызги.

Полицейские разместились в двух катерах.

Полный ход. Два катера, доверху наполненные темным горохом, стрелой понеслись к рыбачьим лодкам в море.

— А, явились!

— Прекратить лов!

— Попробуйте только нам помешать!

— Бросить сейчас же!

Между рыбачьими лодками и катерами завязалась перебранка.

[1] Кэн — 1,81 метра

Полицейские катера все приближались. Вдруг три моторные лодки отделились от берега и, выстроившись шеренгой, преградили им дорогу. На борту этих трех лодок стояло несколько десятков парней. Натужив руки, они следили взглядом за катерами. Дочерна загорелые, докрасна обветренные лица были обращены прямо на полицейских, точно молчаливые дула.

Катера проскользнули между первой и второй лодкой и направились в море, но в это время третья лодка повернула нос и преградила им дорогу сзади. Катера повернули направо. Тогда одна из лодок подошла к самому борту переднего катера, а вторая пристала к корме заднего.

Рыбаки перескочили в катера и сжали кулаки, готовые пуститься в рукопашную. Полицейские поняли положение.

— Назад, или мы будем стрелять!

Под напором сильных тел борт накренился Раздались крики, всплеск. Налетевший порыв ветра взметнул тучу брызгов...

В Сакари - Мати, главном городе уезда, в полиции шел допрос. Рыбаки все, как один, давали одинаковые показания. Они не думали сдавать участок. Сдавали люди, которые не имеют никакого отношения к рыболовству, которые действовали по своему произволу... и так далее. Особенно стойко держались Кэндзиро, Мохэй и Тайокити.

— Как вы посмели ловить аваби?

— Ловили оттого, что у нас есть право ловить.

— Это право продано кампании.

— Рыбаки и не думали его продавать. Участок принадлежит рыбакам. Сдавать его или не сдавать — это дело рыбаков. На собрании, которое вынесло это решение, не было ни одного рыбака — отвечали Мохэй и Кэндзиро.

— Ну, как бы там ни было, — это дело прошлое, оставим это. Но впредь вам придется прекратить лов, — сказал префект полиции тоном дружеского внушения.

— Нет, мы и впредь будем ловить! — Рыбаки не поддавались на эту удочку.

— Вы не смеете.

— А мы будем!

— Это называется грабежем.

— Как бы это ни называлось, а мы будем ловить.

— Не смеете! — вскричал префект.

— А мы будем! — еще более подняли голос рыбаки.

Увидев, что их ничем не запугаешь, префект полиции смягчил тон. Он подумает, он примет во внимание... — и с этим он отправил сто сорок восемь рыбаков обратно в деревню

Конфликт проник и в газеты, и еще не распущенный в то время [1] . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
И вот с помощью . . . . . был выработан проект соглашения между рыбаками и компанией.

1. Компания по ловле аваби через три года распускается.

[1] В оригинале выпущено три строки. Повидимому речь идет об объединении революционных профсоюзов „Хйогикай“.

2. Лица, не занимающиеся рыболовством, немедленно исключаются из рыболовной артели.

И все же, несмотря на выработанное соглашение, противники рыбаков всячески старались не провести его в жизнь. „Немедленное исключение лиц, не занимающихся рыболовством", не было произведено, и к общему собранию 1927 года артель пришла в том же составе.

На этом собрании должны были состояться выборы должностных лиц. Сразу же возникли разногласия относительно способов голосования. Рыбаки настаивали на индивидуальном голосовании, их противники требовали голосования по спискам.

Дело в том, что при первом способе рыбаки могли бы занять все должности своими сторонниками.

Ни та ни другая сторона не шли на уступки, и собрание кончилось ничем. Состоялось второе, но и оно из-за того же спора ни к чему не привело.

В третий раз собрание открылось в школе десятого июля. Общество взаимопомощи, в числе ста сорока восьми человек, присутствовало в полном составе. Противников присутствовало человек пятнадцать. Но на столе у председателя, — а председатель был на стороне капиталистов, — лежала полномочная доверенность от двухсот членов не рыболовов. Сила этих двухсот голосов перевешивала волю ста сорока восьми рыбаков.

— Тут у меня доверенность. В ней выражено согласие на голосование по спискам. Так как большинство на этой стороне, голосование будет проведено по спискам.

Когда председатель провозгласил это, из толпы рыбаков раздались возгласы: „Это самоуправство". Председатель с видом полной невинности приступил к голосованию. Несколько рыбаков вскочили.

— Довольно вам над нами измываться!

Выкрик раздался на весь зал. Тайокити вскочил со своего места и бросился к председательскому столу. Сторонники председателя подбежали, остановили Тайокити. Рыбаки закричали и повскакали с мест. Но и противники их вскочили. Рыбаки кинулись на них. Тайокити вырвался. „Что вы делаете, что вы делаете!" — Чей-то тонкий голос прозвучал особенно громко. Стол со страшным грохотом упал, весь пол трясся. Вода, пролившаяся из стакана, струйкой текла по полу. Ножки стола были сломаны. Сто сорок восемь человек с громкими криками хлынули из школы.

Зал собрания был разгромлен. На полу лежали избитые председатель и остальные пятнадцать человек.

Сто сорок восемь человек колонной, по четыре человека в ряд, двинулись со двора школы по поросшей травой насыпи к деревне

— Все сюда! Все сюда!

Они бежали по насыпи. На расстоянии нескольких тйо,[1] сейчас же за мостом, сбоку улицы, находился одноэтажный дом . . . — дом начальника почты. Сто сорок восемь человек бежали туда.

— Все сюда! Сюда!

Деревенские девушки, занимавшиеся вышиванием в угловом доме, выбежали на галлерею. С криками они вмешались в толпу. Улица вдруг наполнилась народом. Со всей деревни сбегались рыбаки. Здесь были и Мохэй, и Тайокити, и Иоскэ. Лицо Кити было как у разгневанного Будды. Лицо Умэ-сан было точно каменное. Лицо Харуити было похоже на потный мяч. Лицо Цурукити было словно медный слиток. Бесчисленные гневные лица!

— Долой угнетателей! — крикнул Тайокити.

Толпа подступила к воротам.

. . . . Сто сорок восемь человек хлынули во двор. . . . . .

Уже был вечер, с моря в самую бухту падали лучи вечернего солнца. Откуда ни возьмись сбежались жены рыбаков. Они шли за толпой и плакали.[2]

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

---

[1] Тйо — 109 метров.

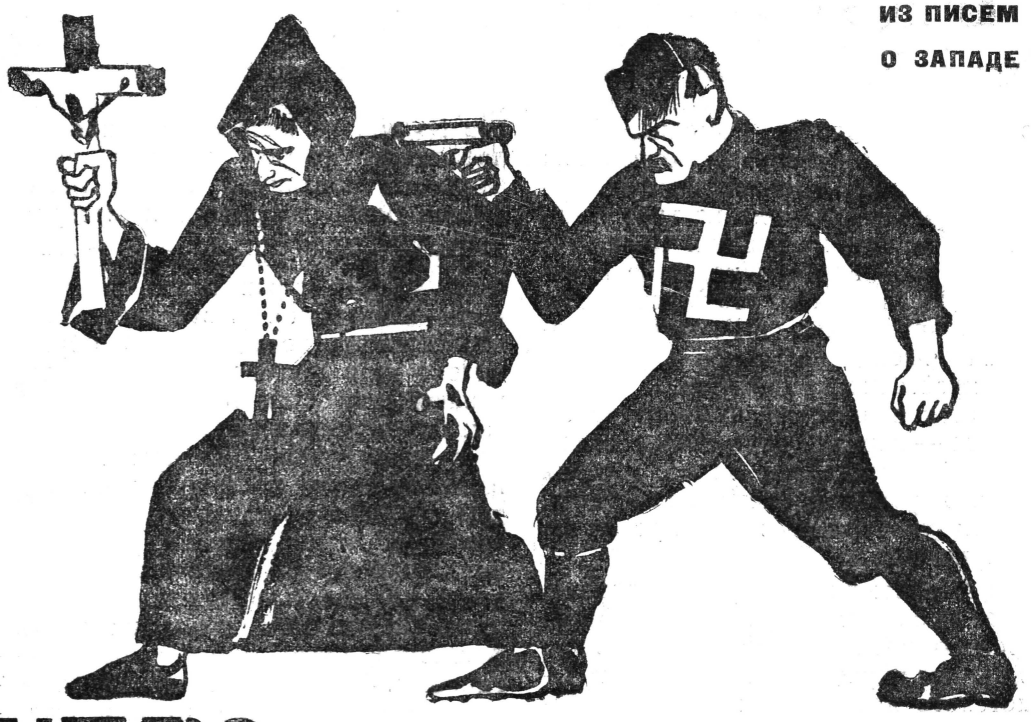
[2] Дальше в оригинале пропущено 12 строк.

Перевела с японского Н. ФЕЛЬДМАН

Запомните: 5171!

Это номер текущего счета отделения сберкассы, куда вы должны вносить деньги на постройку самолета „Вокруг света".

Каждый читатель нашего журнала — активный строитель своего самолета.



УТРО в Поло

ДМ. ЛЕБЕДЕВ
Рисунки В. ЛЕБЕДЕВА

Слепые пасти пушек и в ночь — огневые лапы прожектора. Мальта. У берега салютует сизый крейсер. Мимо. Мы не зайдем к вам, господа. Очень вы нужны нам, наследники рыцарско-полицейского ордена! Но за грядой туманностей — теплый путь в неизвестное, в солнце, в Италию. Мимо пройдут: Неаполь, Мессина, Везувий. Мимо пройдут: люди в черных рубашках и тени людей, которых миллион и которые называются политическими преступниками. В этой стране солнца преступник — это каждый, кто противится преступлению, сделавшему прекрасную страну бесконечным застенком.

Сегодня, устав от бурь, мы немножко танцуем в лазурном разбеге волн. Нам жалко терять каждую милю, и, поддаваясь этой нашей жажде, мы жертвуем страной вечного солнца и вечной каторги. Мы оставляем Италию, не тронув прибрежных волн Адриатики щупальцами нашего винта. Но, чтобы не отдать вечности накопившиеся воспоминания, мы будем говорить об Италии, которая здесь, рядом, которую омывают те же, что и нас, изумрудные, жемчужно-изумрудные волны.

Ребята, все на бак! Я расскажу вам об итальянском комсомоле.

Этот вечер — синий в бархате волн — растянулся на тысячи берегов и долин, и крик его падают далеко на поля Романьи, Калабрии, Апулии. Вы проедете сквозь вечер к берегам ваших желаний, — тогда навстречу вам выйдет солнце.

Короны пальм — знойных, как июль. В прохладной тени темнозеленых рощ тонет золотая Романья. Горы охраняют ее от северных ветров, она не знает зимы, и мягкие склоны двенадцать месяцев в году пестрят пышными цветами и травами. Сонный и тихий край, где солнце, море и радость. Правда. Но это писал поэт. Поэты врут. Есть в Романьи городишка Фаенца. Вокруг — хутора и море крестьянских хозяйств. В Фаенце фашистское царство. В фашистском царстве — царек Сильвания, палач, который прославился на все деревни тем, что рубил с плеча и хвастался, что он уничтожит всех проклятых коммунистов.

От Фаенцы близок путь к границе. Сюда окольными путями и тропинками, со всех концов Италии, идут люди, жаждущие избавления от фашистского яда. Крестьяне всегда укажут дорогу такому путнику, который лучше знает горные тропы, и потому фашисты повсюду поставили свои кордоны, чтобы ловить беглецов. Сюда подбирают фашистов с крепкими нервами и бесшабашными головами, — тех, которые могут убивать, не задумываясь, и тех, которые могут выпытать все у немого. Вы не знаете истории Банконе? Джованни Банконе провел через границу десятки комсомольцев-беглецов Джованни Банконе — старик. Ему просто жалко было детей. Его расстреляли на глазах у семьи. Дочь сошла с ума. Шестилетний внук, залитый кровью деда, вырос дурачком. Сейчас на него надели черную куртку и заставили кричать: „Эввива, дуче". Это сделал Сильвания.

Рабочий Рикардо Донати убил Сильванию. Убить бешеную собаку — доброе дело, и весь городишко Фаенца был на стороне Донати. Но что может сделать маленький городишко против большого, вооруженного фашистского отряда! Донати бежал на хутора, он знал, что крестьяне братски примут его и укроют от фашистских вешателей. Но это не так просто. Фашисты двинули отряд в хутор Санта-Лючия, где спрятался Донати. Крестьяне устроили засаду. Первые фашисты, подошедшие к хутору, были встречены таким градом камней, что им пришлось броситься назад, потеряв по дороге наиболее ретивых. Их проводили доброй порцией дроби. Фашисты подтянули новые силы и с ночи опять загрохотали выстрелы.

Шесть часов длился бой. Сколько было убитых и раненых с обеих сторон — неизвестно. Известно только, что фашисты возвращались обратно далеко не в таком стройном порядке, в каком они шли в атаку. Известно также, что еще несколько часов после боя фашистские санитары разыскивали по всему полю раненых, а потом по всем дорогам тянулись повозки с подобранными кулацкими сынками и чернорубашечниками, отведавшими крестьянской вилы, а то и пули. Но это была безнадежная битва фашистов было много, крестьян — единицы. Когда большинство защитников было подбито пулями, фашисты подвели свежие силы и ворвались в хутор. Санта-Лючия сдалась. Первых попавшихся расстреляли. Дома облили керосином. С боем отбили фашисты у крестьян и батраков Рикардо Донати и увезли его с собой. С тех пор никто не слыхал ничего об его судьбе.

В Италии тем, кто попал под арест, можно петь вечную память. Редко кто выходит живым из фашистских застенков. Есть в Италии такие тюрьмы, где могут заставить заговорить даже камни. Тюрьмы в Италии посвящены все святым отцам католической церкви, и на воротах каждой тюрьмы висит распятие. Известный революционер-коммунист Серрати, смеясь, говорил, что это сделано для того, чтобы каждый обреченный на смерть был в непосредственной близости к богу. У святых отцов фашисты учились развязывать людям языки: известно ведь, что церковь жгла, четвертовала и пытала людей так, как ни один палач в мире. Лучшими палачами в истории были святые отцы инквизиции. Долго ли будешь молчать, когда тебе поджигают пятки? Или когда разрезают вены и начинают выпускать кровь? Или когда полчаса бьют по спине прикладом, а потом кровь начинают посыпать

солью? О! Фашисты знают, как нужно открывать рот немым.

В Генуе, во дворце старого герцога, где тени столетий бродят по коридорам, есть врачи, к которым посылают особенно упорных. Врачи призваны уменьшать страдания, — не так ли? Но врачи — это люди. А в Генуе врачи — фашисты, а фашисты — это не люди. Они только прикрыты человеческой личиной. Фашистские врачи изобрели такое средство: впускать иод в прямую кишку. Вы не знаете, что это такое? Лучше и не знайте. Это больно. Это очень больно, когда человека подвергают такой операции. Он кричит исступленным голосом, глаза выкатываются у него из орбит, а губы покрываются запекшейся кровью. Немного найдется смельчаков, которые могут выдержать все эти пытки. Люди становятся невольными предателями. У комсомольца Феруччио был друг Често. С детских лет они готовы были отдать голову друг за друга. Често поймали и стали пытать. Он терпел три дня. Ему вывернули суставы, и кожа на спине сползала с него клочьями. Он молчал, но пытки иодом он не выдержал. Он просил убить его. Палач улыбнулся и продолжал пытку. Тогда Често выдал Ферручио. В тот же день он разбил себе голову о каменную стену тюрьмы.

В Милане комсомольца Дирепо допрашивали, подкладывая под ноги горящую в бензине тряпку. Дирепо никого не выдал. В Тоде нескольких комсомольцев запытали до смерти. Они не проронили ни одного слова. В Велле замучены три комсомольца. Ни один из них до последнего вздоха не выдал товарищей. Комсомолка Лео Диокала от пыток сошла с ума: она бредила всеми кошмарами пыток, но не назвала ни одного имени. Молодая работница Цапра Чанси предстала перед фашистским судом с лицом, черным от запекшейся крови. Устыдились даже судейские палачи. Чанси гордо пошла в тюрьму, не выдав никого.

Стройная, горячая, с пылающими глазами Джоржина Россети сейчас превратилась в хромую, выцветшую старуху. Мрак подземелья ослепил ее, сырость сгорбила девушку, лишила ее стройности и гордой походки. Ей еще долго сидеть: фашисты приговорили ее к медленной казни — восемнадцатилетней каторге. За что? За то, что Джорджина — комсомолка. Когда она отказалась выдать товарищей, ее пытали. Когда она выдержала пытки, фашисты отравили ее мать.

— Если хочешь спасти старуху, — злорадно сказал начальник тюрьмы, — выдай коммунистов.

Она плюнула ему в лицо. Ее запрятали в самое черное подземелье. Волны бьются у подножья ее тюрьмы, — волны, которые рассекает наш корабль. Пусть солнце завтра будет горячее и радостное, пусть теплый ветер, ветер Средиземки ворвется через съеденный мхами гранит и передаст ей солнечный луч от нас — подарок весны и людей севера.

Когда граниты замка расступятся перед ней, — мы хотим, чтобы это было скорей, — мы сотрем с нее годы подземелья и пыток, и она выйдет к нам такой же молодой и светлой, как в тот день, когда она впервые крикнула в лицо полицейской своре Пистойи:

— Проклятие вам, палачи!

Вы поймете теперь, почему самый спокойный из итальянских комсомольцев Делла-Маджора не выдержал и убил двух палачей. Он говорил на суде:

— Я презираю индивидуальный террор. Я знаю, что не этим мы уничтожим фашизм. Но я не могу больше терпеть. Когда я слушал, как пытают в Генуе, в Парме, в Пистойе, как убивают младенцев, как насилуют девушек, у меня начал мутиться рассудок. Я сказал себе: надо убить несколько палачей, чтобы удовлетворить жажду мести. Я жалею, что их было только двое.

Его привезли в родную деревушку и расстреляли на глазах у матери и родных. Он отогнал грязного католического попа и сорвал с глаз повязку:

— Стреляйте в глаза, трусы!

Залп разрезал его пополам.

Но навстречу трясущейся от страха крестьянской толпе долетели последние горячие слова:

— Долой палачей! Да здравствует революция!

И вышло так, что в тот же вечер на кладбище нашли четырех убитых фашистов. Крестьяне оставили на трупах записку: „За Делла-Маджоре".

В день, когда убивали Делла-Маджоре, в горах Абруццо был ветер. Ветер подхватил его смелый призыв, вестники понесли их по деревням, и вот уже скоро до оливковой солнечной Апулии долетели эти слова. К югу от Абруццо Адриатическое море омывает берега этой светлой, богатой страны. Богатой для помещиков. Потому что тысячи крестьян здесь не имеют ни клочка земли и либо нищенствуют, либо из года в год покидают родные поля и бегут в Америку. Лиловые волны Тарентского залива бьются о высокий каменистый берег. Отсюда — от берегов залива — фашистские отряды и фашистские миноносцы изо дня в день следят за прибрежными неспокойными деревнями, где по спинам крестьян неустанно гуляет фашистский и кулацкий кнут. Торговля стала хуже. Виноград и оливки — благосостояние апулийского крестьянина — встречают на мировом рынке мощных конкурентов. Рис дает слабые урожаи. Налоги растут: бешено вооружающийся фашизм сдирает с крестьянина последнее для того, чтобы строить крейсеры, аэропланы, танки.

В мае 1930 года в Мартина-Франца, маленьком городке Апулии, крестьяне отказались платить налоги. Последний налог был таким, что уплатить его можно только ценой голодного умирания. Умирать не хотелось никому, и крестьяне объявили сборщикам, что ни гроша они фашистам не дадут. Сборщики ушли, а через несколько часов по всему Мартина-Франца понеслись крики:

— Карабинеры!

Кто знает, что такое карабинеры, тот поймет, почему тысячи людей бросились баррикадироваться в своих

— Стреляйте в глаза, трусы!..

ветхих домишках. Карабинеры — это свирепые жандармы, которых посылают для расправы с недовольными крестьянами и рабочими. В первых домах карабинерам еще удалось кое-кого избавить, кое кого вытащить на расправу. Но уже через несколько минут тысячи крестьян, вооруженных пиками и вилами, набросились на них с тылу, и красивые карабинерские шляпы полетели одна за другой, а сами герои бросились в панике назад к казармам. Пики и вилы гнали их до самых казарм. Только в этом прочном каменном здании, недоступном для вил, удалось задержаться карабинерам. Крестьяне осадили казармы. Перепуганный начальник послал по деревням приказ — собирать фашистскую милицию на защиту осажденных жандармов. Милиция действительно собралась, но не для того, чтобы выручать жандармскую ораву, а для того, чтобы помочь крестьянам скорее с ней расправиться. Крестьянская армия загуляла по окрестностям. Она разнесла все фашистские комитеты, все налоговые управления, прогнала отовсюду карабинеров и

фашистов. Вместе с милицией, которая тоже состоит из крестьян, она разрушила телеграфные и телефонные провода для того, чтобы помешать фашистам собраться с силами. И только ночью до Торенто дошли слухи о восстании. Стальной крейсер приготовил свои орудии. Вооруженные до зубов фашисты-матросы с орудиями и танками двинулись к Мартина-Франца. Под покровом ночи они добрались до крестьянских позиций и стали засыпать их снарядами. Пики и вилы не могли устоять против пушек и танков. Всю ночь длился бой, а когда он кончился уже на рассвете, все поле оказалось усыпанными трупами. У крестьян было семьдесят убитых и много сот раненых. Сколько было убитых у фашистов — неизвестно, но и они целую ночь подбирали трупы.

Потом зашумела Калабрия. Там батраки ножами щупали жирные пуза помещиков. Арестовывали тысячами, но это вызывало еще большее озлобление. В Апулии стало так жарко, что фашисты появлялись в деревнях только крупными отрядами.

Непонятно, что сталось с итальянским крестьянином? Он заговорил во весь голос. Когда фашисты завладели Италией, страна была охвачена крестьянским пожаром. Фашисты хвастались потом, что они с самого начала уладили спор между помещиками и крестьянами. Они „уладили“ его после того, как вся Сицилия была залита кровью. Крестьянская Италия замерла, потому что за каждое слово протеста можно было угодить на веревку.

И вот, в ноябре двадцать девятого года опять покатилась волна крестьянских восстаний по всем деревням Северной и Средней Италии. С каменистыми Абруццами перекликнулась оливковая Калабрия, кукурузные поля Сульмоны и рисовые деревни Ломбардии. Крестьяне Италии нетребовательны. Их пища — полента, кукурузная крупа, и только. Где есть рис — питаются рисом. В Италии мало пшеницы, и страна ввозит миллионы тонн хлеба из-за границы. Когда-то риса было много, теперь его не хватает и для самой Италии. Война вконец разорила крестьянское хозяйство, а фашисты докончили разорение. Итальянская деревня живет впроголодь. Но когда отнимают даже поленту, немые начинают говорить.

Тогда фашисты задумали комедию плебисцита: пусть, мол, каждый итальянский гражданин скажет, согласен ли он с фашистским режимом. Нашлись было чудаки, которые голосовали против фашистов: их быстро отправили в тюрьмы, а то и просто упрятали так, что нельзя было найти и следов. После этого многие просто не участвовали в голосовании, а другие подавали пустые бумажки, не говоря ни „да“ ни „нет“. Но фашистам это никак не могло понравиться, им нужно было похвастаться, что за ними стоит весь народ, и потому нужно было побольше бумажек с надписью „да“, то есть за фашистское правительство. Поэтому в деревнях поступали просто: крестьян под конвоем подводили к урнам, совали им в руки бумажки с готовыми надписями „да“ и заставляли бросать их в урны. Кто отказывался, того хватали и уводили в ближайшую каталажку. Как видите, все обстояло очень просто.

Особенно свирепствовали фашисты в Поле, в городке на берегу Адриатического моря и в его окрестностях, где крестьянское население — сплошь славяне, больше других чувствующие тяжесть фашистского гнета. Их вели к урнам под угрозой смерти. Тех, которые не понимали итальянского языка, избивали и прикладами заставляли высказывать свой восторг перед фашистскими бандитами. Молчи и будь доволен. Среди крестьян оказалось несколько комсомольцев. Итальянские комсомольцы бесстрашно играют со смертью. Владимир Гортан и Лузиано Ладавац — смелые ребята, не боявшиеся никакой опасности, — собрали крестьян в одной из деревень и рассказали им, для чего устраивается плебисцит. Тогда крестьяне решили не голосовать. И когда отряд фашистов пришел в деревню гнать крестьян к урнам, те отказались наотрез. Фашисты набросились на них с оружием. Гортан с другими ребятами ударил фашистов с тыла. К комсомольцам подоспели крестьяне.

Завязался бой, и фашистам пришлось улепетывать, оставив на поле сражения двух убитых и много раненых. Так голосовала Пола.

Но фашисты вернулись с подкреплениями, и уставший крестьянский отряд должен был сдаться. Дольше всех держались комсомольцы, но и они не выдержали напора вдесятеро больших сил врага. Начались аресты, обыски, убийства, — как всегда в Италии. Гортана и других крестьян-комсомольцев увезли в Полу. Суд в Италии действует быстро, когда нужно судить комсомольцев. Четверо были сосланы в тридцатилетнюю каторгу, а Владимир Гортан приговорен к смерти. Среди осужденных на тридцатилетнюю каторгу — тридцатилетнее медленное умирание — были семнадцатилетние ребята. Их бросят в каменный мешок, сожмут их комсомольскую волю в кулак полицейской расправы, сделают из них живые трупы.

... Утром после суда в маленьком городишке Поле был поход на вооруженный лагерь. У городских ворот наготове стояли броневики и пулеметы. По городу маршировали отряды фашистов, и уже с семи часов город был на осадном положении и каждый, кто попадался на улице, рисковал попасть надолго в тюрьму. Чуть забрезжил рассвет, Гортана повели на казнь. По пути стояли войска, а в деревнях около Полы дежурили целые отряды: боялись, что крестьяне пошлют добровольцев на выручку. И послали бы, да только деревни были обескровлены: кто не сидел в тюрьме, залечивал раны.

Гортан держался до конца бесстрашно, как все комсомольцы. Он был достойным учеником Либкнехта. Палачи зажимали ему рот, но он все же успел швырнуть им в лицо пламенные слова гнева и презрения. Эти слова действовали как удары молота, этих слов было достаточно, чтобы среди фашистов, которые вели его на расстрел, началось колебание. Фашистская милиция — те же крестьяне. Они знали, за что ведут убивать Гортана, и если бы не кулацкие сынки — заправилы фашистской милиции, у них хватило бы смелости сказать: нет. И все-таки двое не выдержали. Два молодых фашиста отказались стрелять. Они отказались убивать своего брата. Их увезли. Неизвестно, какова их судьба. Начальство быстро заменило ушедших другими, и печальное шествие продолжалось.

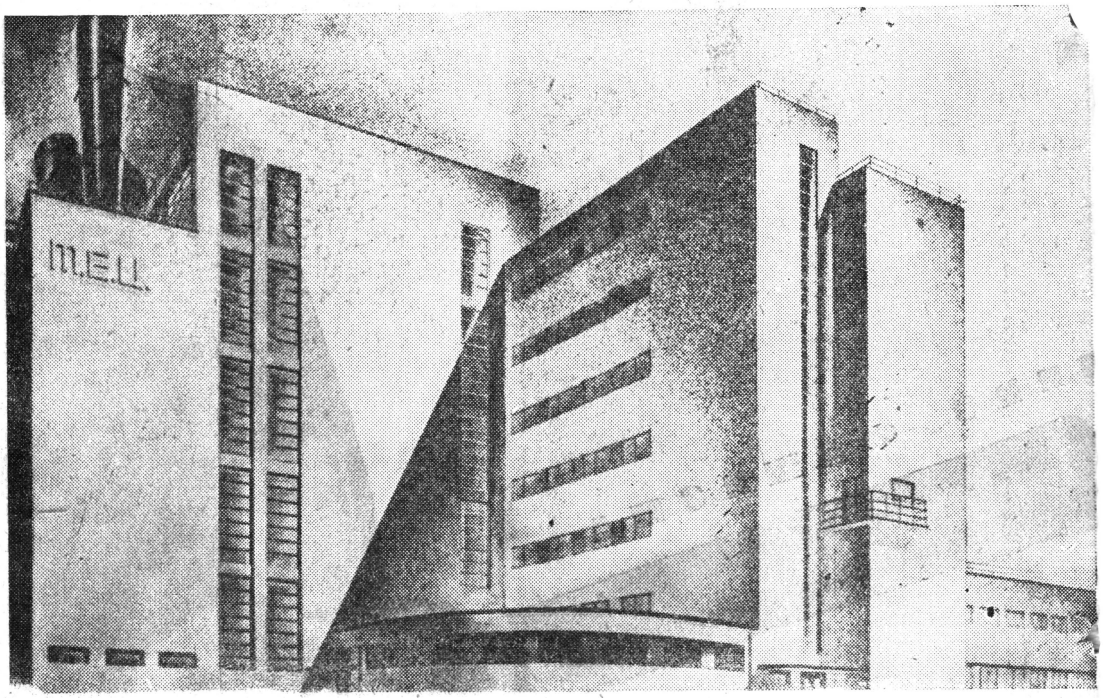
Гортан не увидел следующего дня. На рассвете его превратили в кусок окровавленного мяса. Треск барабанов заглушил его слова. Но через кордоны фашистской сволочи они понеслись по деревням Италии, призывая к борьбе и к подвигам, — слова ненависти и проклятия палачам, те слова, которые поднимают на борьбу тысячи угнетенных.

Барабаны закончили свой треск. Свернули свое знамя, ушли от городских ворот фашисты. Красное, омытое морем солнце поднялось над городом. Тело Гортана уже было глубоко запрятано в землю, а по деревням от Полы на север, по деревням, придавленным страхом фашистской расправы, по городам стонущей, дышащей гневом Италии понеслась весть о герое-комсомольце, который бесстрашно бросил вызов палачам, который показал всем, как нужно бороться и умирать по-комсомольски.

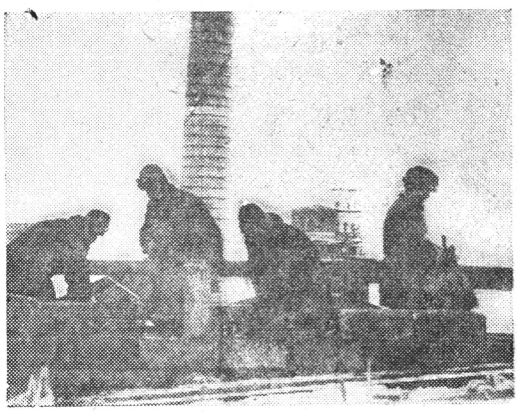
... Море синее-синее. И над морем ночь. Оно чернее там, где дремлют застывшие зигзаги Сицилии и Пьемонта. Оно светлее впереди, где начинается рассвет. И когда в Италии полночь, у наших берегов уже утро. Наш корабль не свернет с пути. Наш корабль идет прямо к цели.

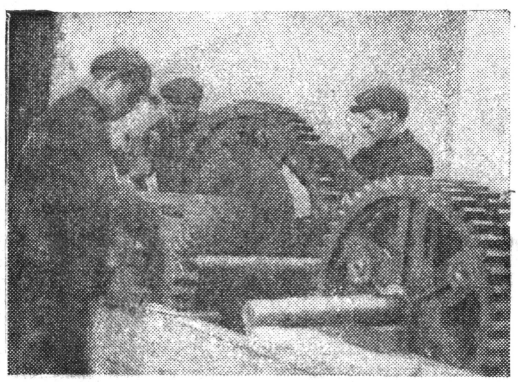
ФОТОМОНТАЖ
Л. ВАСИЛЬЕВА

одна шестая



В Киеве строится мощная теплоэлектроцентраль, рассчитанная на оборудование Юго-Западных железных дорог и связанных с нею предприятий. Постройка должна быть закончена к пятнадцатой годовщине Октября. Стоимость строительства — семь миллионов рублей. На снимке: проект строящейся Киевской ТЭЦ.





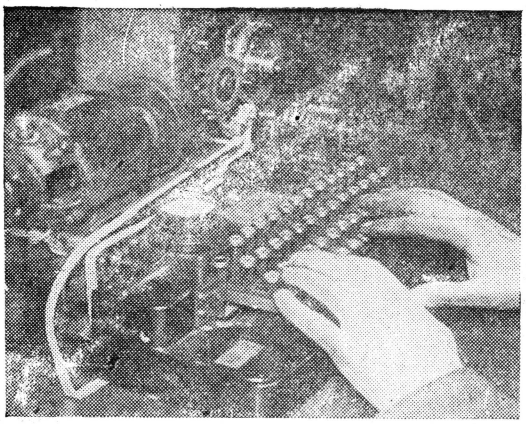
Закончился постройкой цинковый завод в Белове (Кузбасс). В январе завод даст первый цинк. Годовая норма выработки тринадцать тысяч тонн цинка. Хорошее оборудование завода позволит эту норму выполнить с превышением. На снимке слева: Ударная бригада каменщиков на кладке силовой станции завода. Завод „Севкабель" в Ленинграде по многим показателям догоняет и перегоняет Америку. На снимке справа: Ударники сборочного цеха

ПЯТЬ ШЕСТЫХ

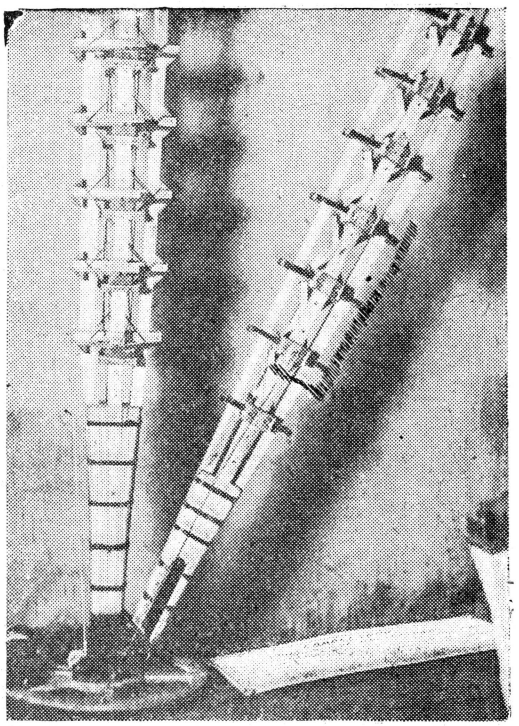
В результате бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьме в Стейтвилле (штат Иллинойс) произошел бунт. Вызванные войска подавили этот бунт. При наведении „порядка" несколько заключенных было убито и тяжело ранено. На снимке: Порядок в тюрьме восстановлен. На полу валяются вещи, выброшенные заключенными из камер.

На снимке слева: Разгон демонстрации безработных в Нью-Йорке. **На снимке справа: Безработные Нью-Йорка ждут** у входа в центральный рынок в надежде получить маленький заработок.

одна шестая

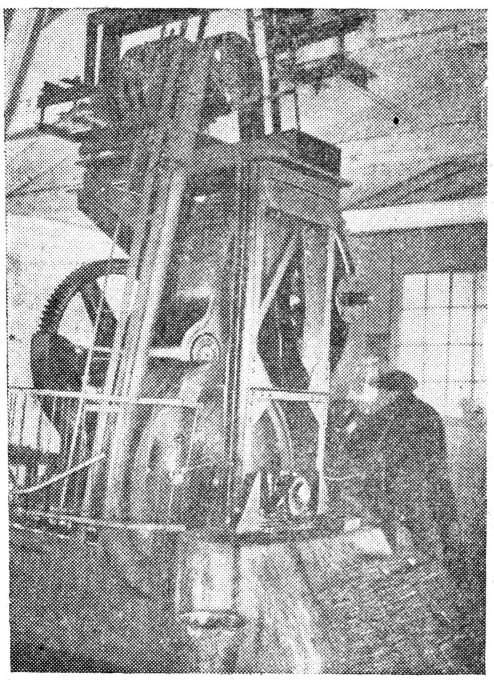


Завод им. Кулакова развивает выпуск универсальных телеграфных аппаратов „Ш-22“ системы инж. Шорина. Выпуск этих аппаратов освобождает страну от импорта. На снимке: Телеграфный аппарат системы Шорина.

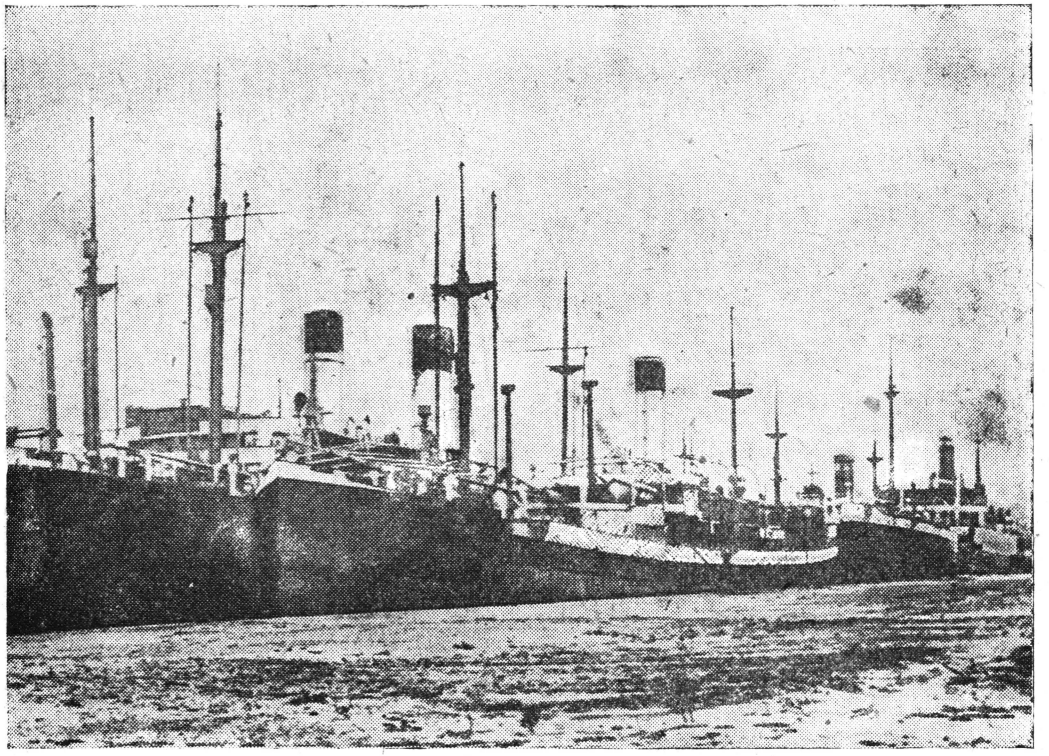


ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ ИМПОРТА

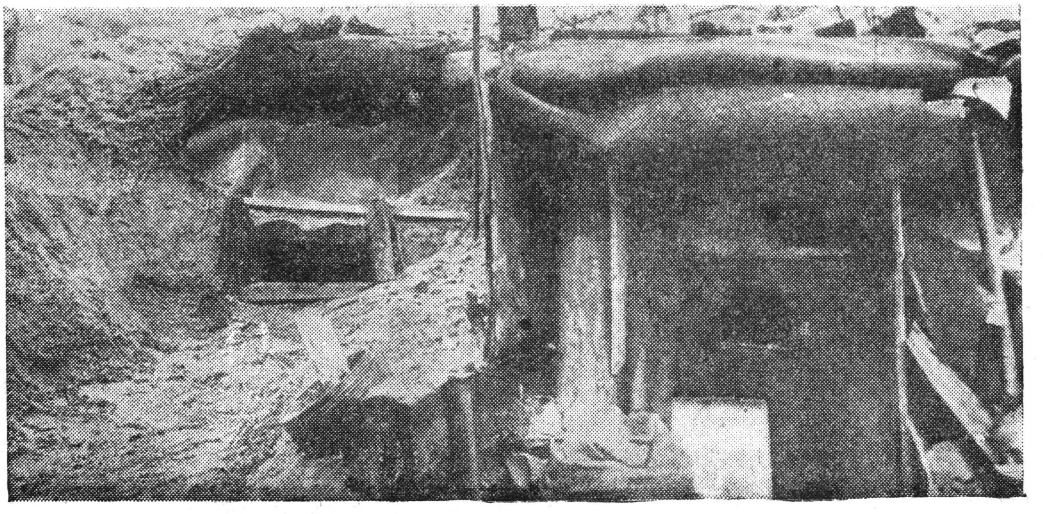
ИТР Свирьстроя реконструировали и начали постройку деревянных дерриков. Американский деррик стоил 15.000 рублей золотом и плюс 50% накладных расходов в советской валюте. На верхнем снимке: Деррик Свирьстроя.



Мощный резальный станок для холодной резки металла установлен на заводе КЭС в Подольске. Станок заменяет труд шести рабочих. На снимке слева: Резальный станок.

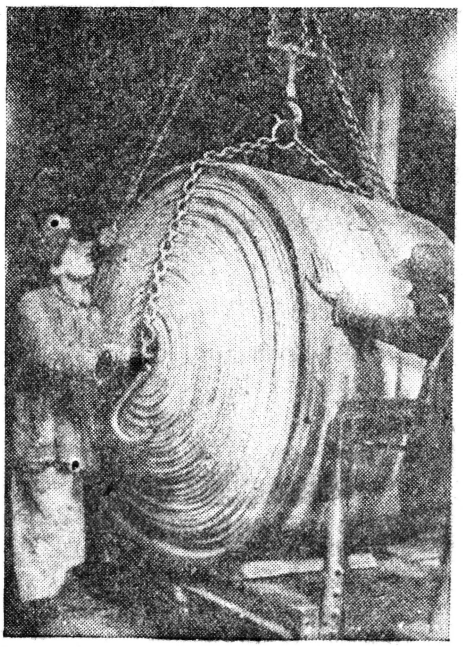


В результате экономического кризиса в Германии бездействуют сотни пароходов с общей грузоподъемностью свыше полумиллиона тонн. Не подвергаясь ни ремонту, ни чистке, эти пароходы разрушаются. На снимке: „Безработные" пароходы в Гамбургском порту.

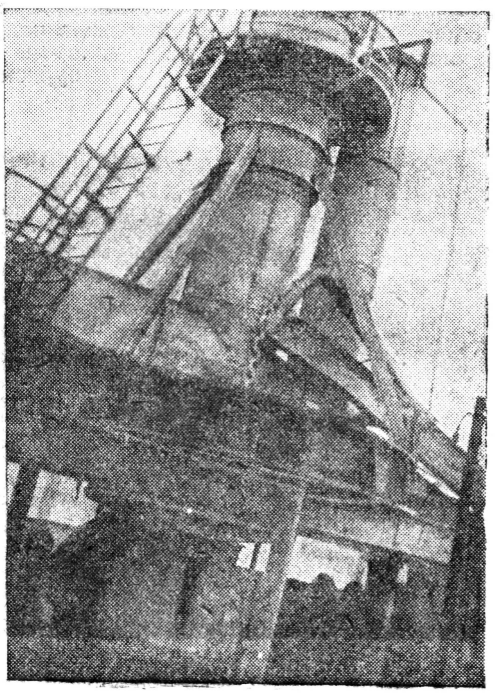


Из-за потрясающей безработицы в Германии рабочие Берлина живут на улице. На снимке: Убежище, устроенное безработными в пригороде.

одна шестая



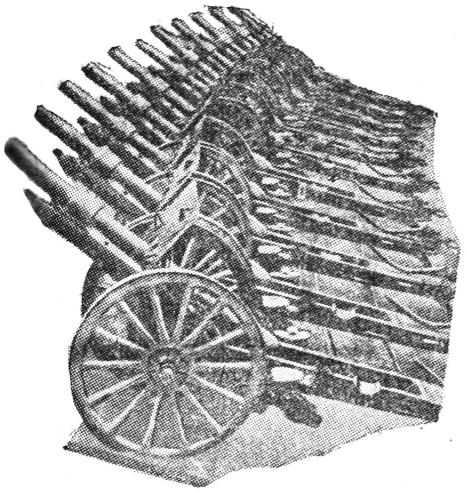
Ленинградские заводы сейчас строят мощное оборудование для реконструирующихся советских золотодобывающих приисков. На снимке: Готовый транспортер для драг на заводе „Красный треугольник".

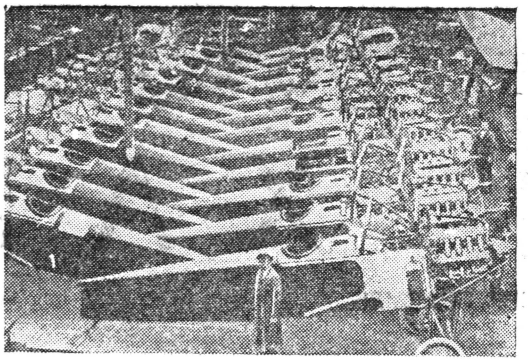


На Невхимкомбинате закончено оборудование кислотного завода. На снимке: Монтаж головки (коммуникации) кислотной печи.

Старые доменные печи Сулинзаьода перестраиваются в соответствии с требованиями социалистического хозяйства. На снимке: Реконструированная домна № 3.

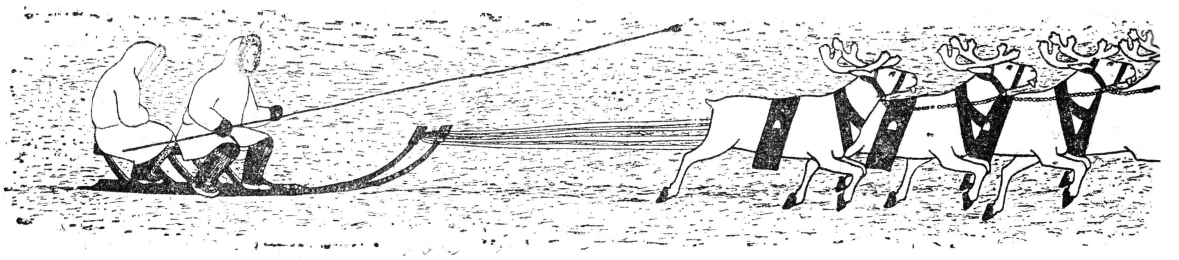
пять шестых





ЕДИНСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОТОРАЯ НЕ СОКРАТИЛАСЬ ПОД УДАРАМИ КРИЗИСА— ЭТО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИЗГОТОВЛЯЮЩАЯ ОРУДИЯ УБИЙСТВА.

Вверху справа: Массовое производство военных самолетов в Амстердаме. Слева: Цех массового производства пушек в Англии. Внизу: Новейшие английские военные корабли.



ХАРП

ИРИНА БРАЗУЛЬ

Рисунки А. МИХАЙЛОВОЙ

I

Скрип полозьев по морозной бесконечности снегов. И однообразие, проходящее, как этот скрип, через день и ночь. Не было ни дней ни ночей. Была даль, лес, снег, мороз. Зло и беспрестанно скрипели полозья. Сутки одни за другими уходили в морозный дым. Звенел колокольчик. Таяло, как громадная льдина, время.

Он закрыл глаза. Заиндивевшие ресницы сцепились крючечками. В мозгу копошилась замерзающая мысль. Мгла морозного тумана мешала ей проясниться. Было невозможно сосчитать, который день они ехали. Каждый раз, принимаясь за этот счет, он запутывался на пятом, а дальше его память отказывалась напрягаться. Где-то далеко, между шкурами одежд, бились часы. Может быть стрелка бегала по циферблату, а может быть ползла. Это было абсолютно незначительно. Время стушевало сутки, как арифметическую дробь, которой пренебрегают. Ему казалось теперь, что они ползут между двумя ровными серо-белыми плоскостями. Одна из них отражала другую. Перевернись сани верх дном,—ничего бы не изменилось: облачные и снежные поля были слишком похожи. Это было утомительно.

Не было ни света ни тени. Был только холодный сумрак, в котором беспрестанно бился привешенный под дугой колокольчик.

Он осознал, что солнце потеряно. Оно осталось где-то позади, за морозной завесой белесых туманов, за сотнями километров пути, за пределом северного полярного круга.

Впереди сидел старик в аккуратной оленьей малице. Безразлично держал вожжи. Поворачивался к нему и монотонно бубнил.

— Горностаи, росомахи, выдры лисицы... Горазд много и медведей было. А в прошлом годе белка пошла, страсть! Должно шишки хорошо уродились. Вот она и пришла. Она— народ кочевой. Нынче вот совсем не видно. А в прошлом годе ее мальчишки били. Я вон и то — туда ж! Как от почты свободу получу, так в лес с ружьишком. Хорошая была белочка! Нежная такая, се-еренькая. Сколько я ее на веку перестукал — и не помню. А только польт понашивали из моего зверя немало. Всего было. И куниц и норок. Внук вот у меня — тоже охотник. На двести рублей уже Госторгу сдал. И сейчас вот в избе три лиски сохнут. Хорошие лиски — огневые. Такие только у нас на севере бывают. Вот приедешь — покажу. У вас там небось не такие. Мне сказывали: не мягкие, не красные. Не лисица, а собака. Ты мне только почту там не сомни. Знаешь, дело казенное. Я старик, а порядок люблю. Меня за то и люди уважают. Правлением колхоза состою... Вот мы скоро приедем. Тут на

реке поворот, а потом верст пять, и на горе наша деревня. Пожил бы у нас, посмотрел. Ты как? Ночевать будешь, аль нет? Дальше поедешь?..

Гусеница повозок тянется по извилинам дороги. Под дугой ныряет лошадиная голова.

Он почувствовал, что им снова овладевает холодная дремота. Но надо бороться со сном.

Крепко сцепились ресницы. Надо снять перчатку, это очень сложно, — надо теплом пальцев растопить затвердевший на ресницах снег. Он начал освобождать глаза от морозной паутины. Дорога бежала в извилинах реки.

Северное сияние загоралось.

В избе тихонько потрескивал светильник, перемигиваясь с лампадкой. Жар неостывшей печи, запах душистого хлеба. Сверху, из теплого закоулка, выползает маленький человек. Сначала появляется нога в толстом шерстяном чулке, цыганская широкая юбка, потом — руки. Руки, как темный причудливый корень. Руки с дубленой от работы кожей, знающие вожжи, пеленки, горячие угольи, студеную воду, топоры, лопаты, иголки, теплое коровье вымя, липкое тесто и черные от впитанного пота деревянные поручни плуга.

Она поворачивает к нему свое, как будто выпеченное лицо. Зажигает лампу. Вдвоем они садятся за стол. В деревянной миске нетронутой белой глыбой лежит простокваша. Ложки черпают дрожащие ломти молочной массы. Старуха аккуратно проносит над столом ложку, поддерживая ее ломтем хлеба. В октябре старухе

В Архангельске ему обрадовались.

исполнилось сто лет. С тех пор она, чтобы не сбиться, начала считать с начала. Они ездила в „Санкт-Петербурх“, когда в России не было ни одной железной дороги. Когда еще не была выстроена виселица декабристов. Когда перо Пушкина еще ходило по бумаге.

Огонь трещит и плюется синими брызгами. От керосиновой лампы расползаются густые тени, оплетают избу темной паутиной, шипит самовар. Хозяйка разделывает десятифунтового налима. Не путаясь в сложной системе ухватов, быстро сажает и вытаскивает из русской печи чугуны и котелки. К лоснящейся маслом черной сковороде прижимается нежно-белое тело рыбы.

Во дворе распрягают лошадей. Они переминаются с ноги на ногу, опускаются усталые от дуги и звона головы. Пахнет людьми, сеном и конюшней.

В поле ветер закручиваются белые хлопья снега и швыряет их на землю. Мятель растет. Ветряные мельницы машут крыльями с усердием, переходящим в неистовство. Лес стоит как застывшее синее сосновое море. Кажется, на гребнях выступает снежная соль пены. Шумы качающихся вершин несутся, как хоры прибоя...

На тысячи километров расстилалось лесное море, снежные поля и нетронутые пространства. Но тонкая, уверенно прочерченная дорога не терялась между двумя далекими концами—

Архангельск — Печора.

По снежной глухой земле протянулась эта ниточка дороги. Над ней спит сумрак и бодрствует мятель.

Незаметно настало темное утро. Снова в избе гремели ухваты, шипели самовары. Снова на дворе запрягали лошадей. Ночь ушла и пропала, оставив след накопленного тепла, растаявшего, как дым, в первые полчаса пути.

Они уже успели три раза переменить лошадей, когда наконец достигли устья впадающей в залив реки, где стоит полусамоедское, полурусское селенье. Это была Мезень.

Мезень — один из немногих форпостов человека у Северного Полярного моря. Первый пункт, куда заходят корабли, совершающие прибрежные рейсы. Корабли останавливаются на рейде, потом идут дальше, объезжая все побережье до Новой Земли. За весь недолгий период навигации они успеют сделать только три-четыре рейса. Когда сходят последние льды, по рекам — широким и глубоким водяным дорогам — идут катера, пароходики, лодки, баржи, плоты... Зимой же — сквозь леса и тундры, на лошадях, оленях, собаках — тяжелый и трудный путь.

Теперь от Мезени надо было пробиваться по Канинской Земле, Большеземельной тундре — к Печоре.

„Я не хочу, не буду больше ехать,— подумал он. — Я заморожу сознание, забуду обо всем. Я очнусь только в Нарьян-марде, в дирекции совхоза“.

Когда он приехал в Архангельск, там обрадовались.

— А-а! Товарищ Бахматов? Да, да, нам писали. Молодой специалист? Бактериолог? Чудесно! Евгений Михайлович, созвонитесь с Госторгом. Скажите, что приехал тот товарищ, которого мы ждали. Попросите немедленно устроить... Невозможно? Но ведь они сами заинтересованы в этом... Наконец, забронируйте комнату в Доме иностранца!.. Так вот, товарищ Бахматов, первые несколько дней вы поживете у Евгения Михайловича. Это наш лаборант. А там мы вас как-нибудь устроим. Сейчас пойдите отдохнуть, а завтра мы побеседуем. Евгений Михайлович вас проводит. Значит, до скорого!

Они шли на остров, через широкую Двину, по дороге, усаженной по бокам елочками. Их обгоняли олени с легкими нартами, пешеходы. Евгений Михайлович был стар. Передвигаясь с минимальной скоростью, он утешал Бахматова:

— Вот уже видны огни Соломбалы.

— Солом... чего?

— Ах, вы ведь и не знаете, — с укоризной сказал старичок. — Это старое название. Не знаю, в каком это

было году. Основатель Архангельска, Петр Первый устроил однажды на этом острове большую ассамблею. Когда его гости угощались, прославляя щедрость императора, Петр посмотрел счет за устроенное пиршество, и заметил: — „Солон бал!“ Вот и стали звать остров „Солонбалом“. Одна буква от старости стерлась, стали говорить Соломбала... Я уже двадцать лет на острове живу. Много перевидал и кораблей и людей. И еще поживу. Потому и с севера не уезжаю, что здесь люди долго живут. Помирать сейчас не время: все пригодимся...

Быстро кончился северный день. На берегу зажглись мерцающие огни. Огни перекликались со звездами, которые гасили северное сияние.

На другой день все произошло быстро и неожиданно.

— Товарищ Бахматов? — спросил директор. — Зайдите ко мне потолковать... Видите ли, дело вот в чем: использование вас как специалиста обстоит совсем иначе, чем вы себе наверное представляли. Мы ждали вашего приезда с нетерпением не потому, что в лаборатории нехватает работников. Масштабы работы у нас небольшие, и Евгений Михайлович с двумя помощниками вполне справляется. Мы хотим возложить на вас сложное и серьезное дело, на которое никого из нашего аппарата использовать нельзя. Специалисты у нас беспартийные, старой закалки, и поручить им это дело невозможно. Месяц назад в Архангельск приехал видный американский ученый Годд, известный бактериолог, работающий в течение ряда лет по зоологии, в частности оленеводству. Значительная часть успехов американцев в разведении оленей на Аляске достигнута именно благодаря Годду. Вы, конечно, хорошо знаете о биче оленей — копытке. Еще никто не нашел способа бороться с этой болезнью. Мы теряем целые стада. Годд заинтересовался вопросами появления и распространения этой болезни. Он не мог работать на родине из-за отсутствия материала и подходящей обстановки. Он приехал в Советский Союз. Месяц назад он выехал в оленесовхоз „Харп“ на Печоре, где поголовье стада оленей больше тридцати пяти тысяч. Годд намерен там работать до тех пор, пока ему не удастся добиться каких-нибудь результатов в области лечения этой болезни. Единственный человек, который может разрешить задачу, это — Годд. Помимо ценного вклада в науку, положительный исход этого дела спасет нам десятки тысяч оленей, гибнущих от копытки. Годд просил нас дать ему хорошего ассистента, а нам необходимо, чтобы этот ассистент, кроме научных знаний, удовлетворял и еще кое-каким требованиям. Мы ждали вас, товарищ Бахматов. Вы, примерно, такой человек, который удовлетворит и нас и американца. Больше года вы там вряд ли пробудете. Вам самому будет интересно поработать с такой крупной величиной, как Годд. Вы многому у него научитесь. А нам важно, чтобы учились именно вы — новый человек, комсомолец.

Бахматов растерянно сидел в широком кресле. Надо было что-то отвечать... Он — южанин, — не знает ни тундры ни ее людей, о севере у него ученические представления. Он знает только теоретическую работу, он не владеет языками...

— Последнее — самое важное, — заметил директор. — Что же касается остального, то большевикам приходится работать в любых условиях, и они должны уметь это. Проедете до Печоры недели две, две с половиной. У Годда там уже кипит работа. Кстати о языке. Там работает ветеринар, он владеет английским. При его помощи вы на первых порах и будете разговаривать с Годдом. Теперь давайте обсудим деловые подробности пути...

И через семнадцать дней Бахматов подъезжал к дирекции совхоза в Нарьян-марде. Две недели назад последние олени увезли американца. С тех пор никто не мог выбраться ни на шаг. Люди сидели в маленьких домиках как в футлярах. Вся дирекция — пять человек,

Стада были на зимовке у реки Тиль-вор-яги. Там в теплых чумах

пастухов, среди ягельных [1] пастбищ, около замерзшей Тиль-вор-яги — далекой и неизвестной речушки — зарождалась великая работа бактериолога.

Бахматов остановился в дирекции только на полчаса. От близости этого большого, настоящего труда уже начался рабочий зуд. В замерзшей пустыне, у замерзшего человека закопошились горячие мысли. Руки и ум просили работы, настоящей большой работы, захотелось тяжелого труда и больших результатов этого труда.

Круглые, близко поставленные чумы — конец пути: „бактериологическая станция" Годда.

Американец вылез из перетянутого кожами шатра. Чисто выбритое лицо, плотная высокая фигура, обтянутая меховым костюмом, привязанные на ремнях к поясу узорчатые пимы.

Бахматов неуклюже слезал с нарт, как человек, которого укачало. Неуверенной походкой он подошел к медленно двигавшемуся американцу. Тот протянул руку.

„И смешной же у меня наверное вид", — подумал Бахматов. Он не мог произнести ни слова. Стало страшно за будущую работу. Он беспомощно огляделся по сторонам. Из меховых шалашей быстро вылезли люди. К ним приближался почти бегом человек.

„Ну, спасен, — решил Бахматов. — Ветеринар меня поставит на рельсы".

Человек подошел.

— Морман.

— Бахматов.

Холодное рукопожатие. Бахматову стало не по себе. „Чорт знает, — подумал он, — в такой дали от города, в тундре, встречаются два человека, которые умеют говорить на одном языке и не могут ничего сказать друг другу, кроме своей фамилии..." Бахматова окружили пастухи-самоеды. Пожимая их горячие руки, он радостно улыбался и увидел в ответ прищуренные глаза и оскаленные зубы. „Добрая команда", — подумал он, глядя на молодых ребят-пастухов.

Они начали так радостно галдеть по-русски, что, будь это в Ленинграде, на коммунальной квартире соседи стали бы стучать в стену,

Потом Бахматов часто думал, что если бы не эти ребята, гоняющие оленьи стада в поисках ягеля по тундрам, он не выдержал бы полярной одинокой зимы.

Вместе с Годдом он часто ездил на пастбищные поля. Там они наблюдали, как олени, сбивая копытами корку снега, выкапывали из-под него мох. С огромными усилиями Бахматов снимал для исследования ороговевшую кожу и пластинки с оленьих копыт. Годд педантично ставил день, число и месяц. Он объяснил потом Бахматову, что это будет иметь большое значение при работе с микроскопом. Американец внушал ему уважение к хронологии.

Бахматов с большим трудом начал объясняться с ним по-немецки. Этот язык меньше пугал его своими трудностями. Он совсем замусолил свой словарь и не мог без бешенства слушать свободный лай ветеринара по-английски. Морман предложил было Бахматову свою помощь в изучении этого языка, но сделал это так небрежно и снисходительно, что оставалось только вежливо отказаться.

Немецкие глаголы в виде ветвистых рогов мучили его во сне, вырастая до чудовищности. И все же первые две-три недели, когда он хотел сказать Годду два слова, он потел на сорокапятиградусном морозе. Когда между двумя русскими и американцем налаживалась беседа на трех языках, Годд читал им целые лекции. Морман переводил. Он незаметно отошел от других обязанностей и занялся исключительно лингвистикой и „конферансом". Жалуясь на старость и нездоровье, он даже отказался от дальних поездок. У Годда оказалось два помощника: один — в деле, другой — в разговорах.

Во время поездок по тундре, когда Бахматов был наедине с Годдом, он

[1] Тундровый мох, которым питаются олени.

облегченно вздыхал и коряво, но спокойно объяснялся с американцем, не чувствуя за своей спиной ядовитой усмешки ветеринара.

Иногда они заезжали в самоедские селенья, взяв с собой кого-нибудь из пастухов. Тогда начиналась совсем сложная система перевода. В качестве главного референта выступал уже Бахматов. Заваривалась каша из русско-немецкого и немецко-самоедского языков. Самоеды превращали гостеприимство в плен и старались долго не отпускать их. Они слушали песни и целые концерты в их честь, смотрели ружья, капканы, добытую пушнину. Бахматов всеми силами старался узнать у самоедов, когда обычно замечалось у оленей начало эпизоотии, первые признаки копытки, периодичность, количество падежа. Потом на своем танцующем диалекте он сообщал эти сведения американцу, Годд делал заметки в дневнике.

Самоеды как-то рассказали Бахматову, что на Яней-хребте, ближе к берегу океана, на несколько верст тянется кладбище оленей, погибших от сибирской язвы.

— Олени костью лежат на камне, — сказал Бахматову переводчик. — Камень — язва, кости — язва и воздух — язва. Один олень туда забежит — все стадо передохнет. Большое кладбище. Все его кругом объезжают.

И снова они ехали на быстрых оленях, под игравшим яркими красками небом, по безмолвной, бездорожной тундре.

Иногда они ездили вверх по реке на охоту. Там водились норки и выдры. После этого наступал долгий период „домоседства“.

Годд сидел в своем чуме, писал, читал, говорил с Бахматовым, с пастухами, и снова утыкался в записки и книжки. Морман ходил вокруг него на цыпочках, а Бахматов зубрил немецкий.

Шел уже третий месяц его пребывания в тундре. Начинался апрель. Где-то далеко таяли снега, светило солнце. На берегах Черного моря цвели мимозы, на Северном Кавказе вскрывались реки и начиналась весенняя посевная кампания, в Москве и Ленинграде дымили на улицах снеготаялки и люди по два раза в день мыли калоши. Иногда Бахматов брал карту и долго вглядывался в ее сухое графическое лицо, впервые чувствуя на себе подавляющую власть расстояний. В тундре только посветлело туманное небо. Полярная слепота проходила. Они начали отличать дни от ночей.

Как-то, после нередко случавшихся стычек с Морманом, Бахматов резко сказал ему:

— Действительно, в наших условиях таким людям, как вы, место только в тундре. Без солидной изоляции вы были бы опасны.

Годд, почувствовав разгневанный тон Бахматова, увидя красное и злое лицо ветеринара, закурил и вышел из чума.

— Вы говорите так несдержанно, потому что чувствуете, что вы неправы, — стараясь возразить спокойно, ответил Морман. — Зачем вы хотите доказать мне, что мы умеем организованно жить и строить? Разве вы сами не натыкаетесь каждый день на доказательства обратного? Будьте объективны. Смотрите. Вот мы с вами живем в тундре. В совхозе „Харп“. Очень хорошо. Это так же похоже на то, чем должен быть настоящий совхоз, как на северное сияние. Все так же по старинке олени гоняются пастухами с одного пастбища на другое. Попрежнему стада подвержены эпизоотии и мрут десятками тысяч от сибирской язвы и копытки. Мало того, случись не сегодня — завтра гололедица, — весь ваш северносиятельный совхоз полетит к чорту. Погода может ежечасно обречь оленей на гибель от бескормицы. Это что же по-вашему? Когда стада не охраняются, олени гибнут от хищников, пропадают без вести, мрут от болезней и голода, — это все социализм, да? Это так должен выглядеть совхоз? Образцовое хозяйство? Где же ваши корма, стойла, рефрижераторы? Посмотрите — американцы. За каких-то двадцать-тридцать лет они из ничего сделали на Аляске оленеводство доходной статьей. Как по-

ставлено дело в „Ломен Рейндир Компании"? В девятнадцатом году они купили у нас несчастную сотню оленей, а теперь у них отборное, укрепленное стадо, образцовые фермы мясных пород! Наши олени перед американскими — букашки. И во всем так, — заметьте себе это, товарищ Бахматов. Наша курица-пеструшка дает нам сорок яиц, а в Дании и Норвегии сто сорок! А вы знаете, насколько наш урожай меньше, чем в Германии? Знаете наверное!.. Что вас агитировать! Вы все знаете. Вы намеренно закрываете глаза, чтобы не сознаться в своей ошибке, чтобы не сказать прямо, что сначала надо было поучиться у капиталистов, а потом уж ломать им шею. Так-то, товарищ комсомолец и строитель социализма!

Морман выплюнул последние слова с презрением.

Бахматов почти с удовольствием принял это оскорбление.

— Интересно знать, чем в таком случае вы объясняете рост нашего стада? — отменно вежливо и сдержанно начал он. — Я надеюсь, вам известны результаты полярной переписи 1926 года, которая показала два с половиной миллиона оленей? Пять лет назад мы уже имели на семьсот тысяч голов больше, чем в 1914 году. Наверное вы знаете кое-что и о тех четырех с половиной миллионах голов, которые намечает вторая пятилетка? Почему вы все это замалчиваете? О, я понимаю, что таких господ, как вы, во всем итнересуют не социальные, а технические признаки. Вы с этой же точки зрения рассматриваете и совхозы. Вам нет никакого дела до того, что олени перестали служить средством закабаления и эксплоатации. Вам безразлично, что все население тундры должно было буквально ползать на коленях перед горсточкой оленеводов? Вы что, не знаете, что эти тундровые кулаки спекулировали пушниной, требуя с охотника по два песца за одного оленя? Конечно! Это все так мало касается вашей шкуры, что неудивительно ваше безразличие. Подобные вам всегда проповедуют — сидеть и ждать! Но наглость предлагать „учиться" я встречаю впервые. Вам надо учиться. Вам надо читать о том, какие у нас будут аэропорты, лесные заводы, обезвреженные от заразы пастбища, бактериологические станции. Вы невежественны. Вы не хотите знать ничего кроме своей застарелой злобы и во всем ищете пищу для нее. Кажется, вы успели найти ее и в разговорах с Годдом. Я вижу, что эти беседы, которых я не понимаю, не проходят для вас бесследно. Вы уже восхищаетесь аляскинским оленеводством. А вы знаете, на какой подлой авантюре оно выросло? Годд не рассказал вам, как в девятнадцатом году, во время гражданской войны и голода, кучка авантюристов переехала с аляскинского берега на советский и под носом у чукчей выкрала этих оленей? Находчивые жулики объявили собственность „согласно законам советской власти" аннулированной! Нам некогда тогда было заняться этим делом. Эти не купленные, и не сотня, а куда больше, олени были проданы ворами вашей хваленой „Ломен Рейндир компании". Единственное, что осталось таким, как вы, — зачахнуть. А такие процессы в природе бурно не проходят. Так что зря волнуетесь. Помирайте лучше тихо, сраженные своим собственным ядом. Вы скоро получите отставку и как переводчик тоже. Будем обходиться без помощи старых мудрецов. Ах, интересно мне послушать ваши разговоры с Годдом! Что он вам рассказывает про Америку, я теперь приблизительно знаю. А вот что вы ему про Советский Союз говорите, хотелось бы мне послушать!

Бахматов вышел из чума, оставив Мормана с перекошенным от злобы лицом.

Это было концом их дипломатических отношений.

Бахматов много ездил с Годдом по тундре. От этой жизни он поздоровел и окреп физически, получая одновременно какую-то новую моральную устойчивость и уверенность. С нетерпением ожидали они полярной весны.

Бахматов говорил собравшейся семерке.

В случае раннего потепления копытка могла появиться в начале июня. Наступала середина апреля. Годд заметно нервничал: микроскоп, эмульсии, прививки, спирт и эфир со всеми препаратами должны были притти две недели назад. Для работы уже требовалась аппаратура, а о ней не было ни слуху ни духу. Полярная весна была коварна. Она могла ленивой рукой двинуть льды, растопить снега, оттаять тундру, — и багаж Годда мог застрять в пути, погубить сезон и всю подготовительную работу.

Так среди морозного покоя беспокойно протекала жизнь семи самоедов, двух русских и американца — интернациональной „бактериологической станции“ оленесовхоза „Харп“.

Третьего мая Бахматов услышал от Годда потрясающие вещи.

— Я хочу съездить, пока не настала распутица, на Яней-хребет, — сказал американец. — Мистер Морман говорит, что там можно достать много интересного для работы с микроскопом. Там, кажется, большие стада? Я думаю выехать завтра, чтобы вернуться с первым потеплением. Вы не откажетесь совершить со мной эту поездку? Может быть она окажется последней? — вопросительно закончил он.

Бахматову показалось, что он не понял.

— Я не понимаю. Скажите, пожалуйста, еще раз — куда вы хотите поехать?

— На Яней-хребет, — спокойно повторил американец, привыкший к его переспросам.

Бахматов не верил ушам.

„Камень — язва, кости — язва, воздух — язва, — вспомнил он. — Один олень туда забежит — все стадо передохнет...“

Ему стало жарко, как будто знак минуса, стоявший перед цифрой сорок, превратился в плюс. Он помолчал секунду. Тысячи мыслей и планов успели промчаться у него в голове, не оставив ничего, кроме смятения. Сглотнув пересохшим ртом воздух, он сказал просто:

— Туда ехать нельзя. Там — сибирская язва. Это действительно может оказаться последней поездкой и для оленей и для нас. Мистер Годд, может погибнуть все стадо!..

Бахматову показалось, что американец плохо понял его: простая немецкая фраза превратилась в запутанный лепет.

— Я завтра вам все объясню, — пробормотал Бахматов и побежал в самоедский чум.

— Вы знаете, — сказал американец Морману, — мистер Бахматофф говорит, что там есть чума.

— Не слушайте этого мальчишки, он пляшет под дудку невежественных самоедов. Я слышал эти бредни, недостойные внимания культурного человека, — возразил Морман. — Смешно из-за старых сказок терять новый и ценный материал.

Для Годда, человека науки, последнего аргумента было достаточно.

— Ребята, — сказал Бахматов, влезая в чум. — Зовите остальных. Скорее всю бригаду. Американец на Яней ехать собрался...

— А ты ему скажи, ты же умеешь, что это страшное кладбище. Зараза там одна. Сотни уже пали. А то мы ему оленей не дадим и не повезем...

— Испугали! Он сам запряжет да поедет. Не хуже вас правит. Нет, ребятки. С ним силой ничего не сделать.

Бахматов уткнулся в словарь, чувствуя, что все зависит от исхода завтрашнего разговора. Выписывая в свой блокнот самые убедительные в мире слова, он проклинал свое немецкое косноязычие и английское красноречие ветеринара.

На следующий день Годд укладывал дорожный мешок. Бахматов стоял за спиной американца с развернутым блокнотом. Он вложил в чужеземные фразы всю силу своего убеждения. Он путал род, существительные, забывал вежливую форму обращения и ставил глаголы в середине предложения. Американец его понял. Но тут встало что-то такое, чего Бахматов не мог побороть: национальное и профессиональное. Годд резко сказал:

— Вы слышали все это от самоедов. Старые предания невежественного народа не могут отпугнуть американского ученого от новой работы для науки. Если вы боитесь, вы можете, конечно, не ехать со мной, мистер Бахматофф. Я кончил.

Не надо было никаких познаний этикета, чтобы понять, что разговор окончен. Бахматов повернулся и медленно вышел. Дикое желание пристрелить Мормана он подавил мгновенно.

— Проклятая, вредная крыса. Вот чем кончились „объективные“ разговоры и критика советской системы строительства! Проторенная дорожка. Травить надо таких гадин!

Выхода не было. Ничего в голове не было, кроме бессвязных обрывков немецких фраз, проклятий ветеринару и твердого намерения во что бы то ни стало не допустить экспедиции Годда.

Он сел на теплую оленью постель в чуме и, колотя концом карандаша между зубами, мучительно думал.

Из Нарьян-марда привезли почту. Это было большое происшествие. Бахматов обрадовался какому-то внешнему событию и, выйдя из оцепенения, пошел к нартам. Он видел, как Морману понесли большую посылку, как спокойно взял свою объемистую корреспонденцию с далеких берегов Годд, и сам получил три письма. В припрыжку он побежал читать их на теплую постель. Каким счастьем казались эти листки бумаги. Одно письмо было от приятеля из Сальска. Оно начиналось привычным: „Алло, старина“. Потом шли восторженные оцисания работы и подробнейшие цифры выполнения колхозного плана во всех разрезах. Главное

было то, что оно оказалось в конверте из синей бумаги с каким-то штампом и печатью — Сальск 25. 4. 31.

Мысль, на которую натолкнуло Бахматова это письмо, была гениальна. Бахматов аккуратно оделся и направился к Годду. План созрел так просто и быстро, что другого варианта не надо было ни ждать ни придумывать.

— Мистер Годд, — сказал Бахматов, вертя перед его носом синим пакетом. — Я сейчас получил письмо о том, что ваш багаж застрял в дороге. Просят выслать совхозных оленей навстречу, так как лошади не управятся и застрянут. На юго-западе тундра подтаяла и багажу со всей аппаратурой придется дожидаться первого парохода. Если ничего не имеете против, я сам поеду навстречу. Самоеды могут быть неаккуратны с упаковкой. Подождите моего возвращения, и мы вместе поедем на Яней. Кстати, легче будет работать с препаратами. Я кончил, — не без ехидства добавил Бахматов.

Годд взял синий пакет, посмотрел числа на штампах, сказал:

— Зальск? Почему Зальск?

— Письма из Мезени идут через Сальск,— быстро соврал Бахматов.

Годд протянул ему руку.

— Спасибо. Я постараюсь подождать вас.

Через полчаса, набивая мешок сухарями, консервами, олениной и шоколадом, Бахматов говорил собравшейся семерке:

— Я поеду в Архангельск. Там я выведу на чистую воду ветеринара. Держитесь, Морман! Мало вам, видно, такой изоляции. Надо построже? Хорошо. Мы вас обезвредим. Ребята, молчать, как мертвым! Всех оленей, кроме тех, на которых поеду я, угоняйте в Большеземельскую тундру, на Колву, Каратайку, к чорту на рога, куда хотите, только чтобы их американец не нашел и чтоб не сдохли. А это почти одно и то же. Главное — ни за что не давать ему уехать отсюда. Понятно? Я вернусь наверное с первым пароходом.

— Смотри, ты застрянешь в тундре! До Индиги еще доберешься, а там распутица обязательно поймает, — заволновались ребята.

— Была не была, — ответил Бахматов. — Делать больше нечего. Доберусь! Если Годд при мне останется без оленей, он мигом поймет, кто это сделал. Тут еще Морман будет науськивать. Без Архангельска его отсюда никак не уберешь. Ехать надо. Так как же ребята, сделаете?

— Все сделаем, — сказала бригада.

До Индиги он мчался, не переводя духа.

Достигнув первого пункта своего пути к концу вторых суток, он узнал, что лед уже тронулся. У побережья шла полоса свободной воды, а дальше — „битое стекло“, ломкий береговой лед.

Бахматов сразу присмирел. Раз подтаяли берега, тундра неизбежно должна была размокнуть. К несчастью, благодаря вдающейся в берег Чешской губе, дорога шла южнее, снижаясь с шестьдесят восьмого почти до шестьдесят шестого градуса северной широты. Шансы на распутицу увеличивались. Каждый день был дорог. В Индиге он почти не остановился.

Следующим пунктом его путь была река Пеша.

— Ехать, ехать скорей! — решил Бахматов. — Не возвращаться же назад! Будь, что будет!

И снова ветер засвистел между рогами оленей.

В Пеше стало окончательно ясно, что продвигаться дальше невозможно. Болото разбухало под мокрым снегом, Олени больше не могли итти. Бахматов испытал страшное чувство — торопиться, сидя на месте. В Пеше прошло полдня.

Каждый лишний час вытягивал у него новый нерв. Не было никаких перспектив вырваться из проклятого „китового лежбища“. Бахматов злился, грелся, жевал оленину и наконец заснул.

Трамвай, бешено мчавшийся в усталом воображении Бахматова, налетел на велосипедиста, когда он проснулся от толчков и от громких вос-

клицаний. На человеке была матросская рубашка и бескозырка с буквами „Лен. мор. училище им. Фрунзе".

Человек дергал Бахматова и радостно кричал:

— Эй, товарищ, эй, да проснись же!

Бахматов немного прозрел и прочувствовал золотые буквы на бескозырке.

— Товарищ! Ленинградец! О, чорт меня возьми, неужели я не сплю, как последний тюлень!

Их радость была так велика, что они добрых полчаса тискали друг друга в объятиях, произнося какие-то нечленораздельные восклицания.

Потом они сели и, скрипя сухарями на крепких зубах, пожирали консервы, успевая одновременно и разговаривать. Бахматов подробно рассказал матросу про свой „переплет". Матрос тоже оказался в переплете.

— Понимаешь, — объяснял он торопливо, прожевывая какие-то кости, — кончается отпуск в училище. А я тут застрял. Домой, к родным в Мезень приехал (я здешний), сидел бы на месте, так нет. Чорт меня дернул за тридевять земель ехать, кита этого проклятого смотреть! Кит здесь выбросился на берег и подох. Любопытно мне было. Вот и застрял я теперь тут. Жрать нечего, отпуск кончается, — это тебе не переплет?

— Как же ты теперь в Ленинград поедешь? — съехидничал Бахматов.

— Как? Очень просто. Вот сейчас доем и поеду.

Старательно прожевав остатки оленины, он стукнул кулаком по коленке Бахматова и заявил:

— В Ленинград я поеду на лодке!

— !!??!!

— Да, да. То есть не совсем в Ленинград, а только до Мезени, разумеется. Лодка у меня для этого дела уже есть. Вода у берегов тоже есть. Да сам хорош. Чего же больше надо? Пришвартоваться к льдине и поплыть на запад по Северному Полярному морю! Плохо ли, хорошо ли, а наверное присоединишься? Обогнем Чешскую губу, тихонько по бережку, а там пересечь Канин — и Мезень недалеко! Чисто сработать — в неделю можно добраться! По рукам?

Через минуту он бросил шуточный тон.

— Слушай, друг, — сказал он. — Имей на примете, что дело серьезное и опасное. Я хотя места знаю, но в такое время по океану в утлой лодчонке — штука не простая. Даже если удастся благополучно достигнуть Канина, его тоже не переплюнешь. Как мы его перейдем — не знаю, прямо скажу. Холодно и голодно будет. Смотри, братишка, дело может повернуться всяко. Тут игра большая. Сам выбирай.

— Что ж ты, чорт, все припасы сожрал? — обозлился Бахматов. — Будем мы теперь с тобой в лодочке шоколадки сосать!

Это путешествие было кошмаром больших туманов, льдин и холодов.

Они бессменно, напряженно гребли, не чувствуя ни себя ни расстояния, которое они проходят. Мрак, туман, холодная соленая вода забили память тяжелым бредом усталости и голода.

На какой-то день пути, когда в океане заиграло что-то страшное, они переночевали, загнанные волнами, в устьи реки. Вася говорил, что это наверное Вижас, а если это так, то они недалеко. Бахматову было почти все равно. Он бессознательно-тупо греб, сосредоточив на этом все свое внимание, все свои умственные и физические способности. Матрос хоть обессилел, но держался крепче и пробовал даже иногда ругаться и разговаривать. Во время этой страшной ночевки вдруг сказал Бахматову:

— Ты думаешь, зря он английский-то знает? Старец этот твой, вредитель? Вот мы копнем в Архангельске, что он делал, когда англичане там сидели? Переводчиком тоже был или почище чем занимался? Мало их перестукали, шпионов проклятых... В расход твоего Мормана пустить бы надо.

Бахматов совсем потерял рассудок. Начался настоящий бред. Он лежал на дне лодки и не переставал что-то бессвязно рассказывать.

А туманы, липкие седые туманы закрывали спрятавшиеся в двух

шагах берега, разъедали тело и рождали один за другим кошмары.

Сколько они проехали — они не знали...

Но однажды они услышали с берега:

— Л о д к а - а - а!

Это была Канинская Земля.

Сутки они провалялись сами не зная где, чувствуя сквозь бредовые воспоминания только одно — тепло и людей.

На другой день Вася сказал Бахматову:

— Слушай, браток. Ты совсем никуда не годишься. Погоди-ка ты здесь. Я верхом перееду полуостров, а потом как-нибудь и тебя вызволю. Запрягать тут ничего нельзя. Такая распутица, что хуже нет.

— Я не буду отставать, слышишь?— ответил Бахматов.

— Что ж, будем седлать двух коней!

Начались тундровые кочки и заболоченные тропы. Туманы уползали. В один день почти загнав коней, они пересекли Канин и увидели стоящий на рейде в Мезенском заливе пароход...

Бахматов лежал в пароходном лазарете.

„Братишка" поднялся на катере к Мезени забирать свои матросские пожитки.

— Холера тебя не берет, — улыбнулся ему Бахматов. — Возвращайся, чорт, скорее. Не опоздай на пароход...

— Слушай, Вася! Неужели прошла только неделя? — спросил он, вспоминая свои потерянные во мраке крики.

— А вот я сейчас тебе точно высчитаю, — услышал Бахматов. — Пять дней мы царапались в этой треклятой калоше. День валялись в хибарке. День верхом по болотам. Итого — чистая неделя! Три дня ты ехал от своего „Сияния" до Индиги, да три дня нам теперь на пароходе до Архангельска. Считай весь путь тринадцать суток. А сколько ты ехал до Печоры зимой?

— Две с половиной недели, — вздохнул Бахматов.

— То-то и оно-то, братишка, — засмеялся матрос. — Вот теперь мы видели, что такое ударные темпы! Это, брат, класс! Стриженая девка косы заплести не успела, а мы это расстояние — тю-тю...

И они вдвоем двинулись на юго-запад, оставляя позади льды и туманы...

Когда пароход вошел в Архангельск, им навстречу неуверенно засветило солнце, как электрическая лампочка, которую утром забыли погасить.

Честь фирмы

НАЧАЛО СМ. НА 39 СТР.

— Здорово, ребята, — радостно крикнул Драйер.

— Хэлло, бой! — ответили они хором. Они делали ему знаки и показывали рукой на стену литейки.

Драйер понял,—они шли помогать обрубщикам, они будут штурмовать дефицитный корпус коробки скоростей. Это были не штрейкбрехеры, нет, это называлось совсем иначе.

— Сквозная бригада?

— Да, да, да...

— Вместе... — улыбаясь, говорил Драйер.— Чарльз вместе сквозная...

Элли Драйер вбежала к соседке и тяжело повисла на ее шее.

— Полли, дорогая Полли, что он наделал! Это так ужасно!

Она была растрепана и взволнована. В глазах ее набухали слезы. Соседка Полли усадила ее в глубокое кресло, она поила ее лимонадом и заботливо гладила ее руку.

— Я всегда говорила, детка, что он вам не пара...

— Но вы прочтите, вы только прочтите...— всхлипывала Элли, разглаживая скомканное письмо.—Он зовет меня в Советскую Россию. Он отказывается от работы у хозяина... Вы чувствуете—отказывается... Отказывается как раз в тот момент, когда перед нами открылись такие возможности... Нет, я не перенесу этого, Полли!

— Бедная Элли... Но что же вы думали раньше!

— Он пишет: „Ты, конечно, поймешь... Я не хочу оставаться рабом..."

Соседка Полли сокрушенно качала головой.

С этого номера мы начинаем отдел „Иностранный юмор“

Юмор буржуазной прессы иногда напоминает юмор висельника, считающего своим долгом отпустить в последнюю минуту какую-нибудь шутку или остроту. Некоторые наиболее умные представители западно-европейской буржуазной интеллигенции отлично видят, что дело плохо, что капитализм потрясен до основания и идет ко дну. В то же время они так прочно связаны со всей капиталистической системой, что всячески открещиваются от коммунизма. Они, пожалуй, еще надеются, что „на их век хватит“, и пробуют цинично отшучиваться. Наиболее показателен в этом отношении мюнхенский журнал „Симплициссимус“. Мрачные шутки, которые срываются иногда с его страниц, лишний раз свидетельствуют о непрерывном, все усиливающемся наступлении мирового экономического кризиса.

„ПОЛИТИКИ БУДУТ ДО ТЕХ ПОР ЗАВТРАКАТЬ, ПОКА ИХ САМИХ НЕ СКУШАЕТ КРИЗИС“.

ЗАВИСТЬ БЕЗРАБОТНОГО

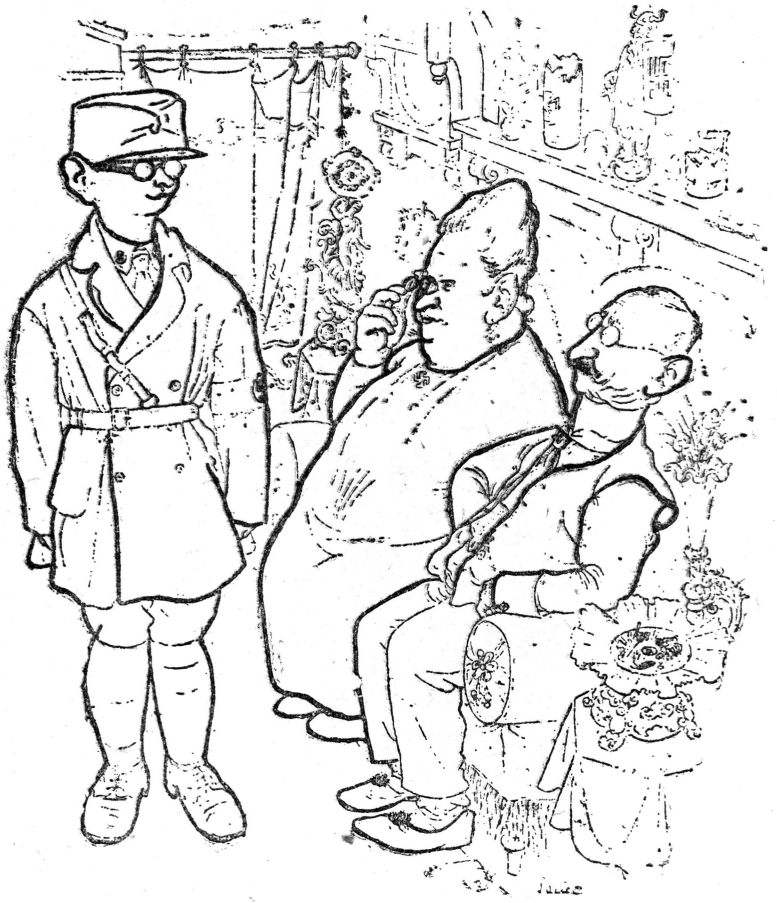
„ИМ ХОРОШО — У НИХ ЕСТЬ ЧТО ЗАКЛАДЫВАТЬ".

„Стремясь обеспечить капиталистический выход из кризиса за счет снижения жизненного уровня широких трудящихся масс путем усиленного экономического и политического закабаления, буржуазия организует террористические фашистские банды, громит рабочие и все другие революционные организации, лишает рабочих и трудящихся крестьян права собраний и печати, душит стачки принудительным арбитражем и насилием, расстреливает демонстрации безработных бастующих рабочих, беспощадно подавляет революционное крестьянское движение" (из резолюции XI пленума ИККИ).

Основные кадры фашистских банд формируются из среды мелкой буржуазии, разоряемой кризисом. Эти мелкобуржуазные массы проникнуты самой реакционной идеологией (в ней не последнее место занимает антисемитизм) и являются тем орудием, при помощи которого крупный финансовый капитал пытается нанести решающий удар рабочему классу.

ГОРДОСТЬ СЕМЬИ

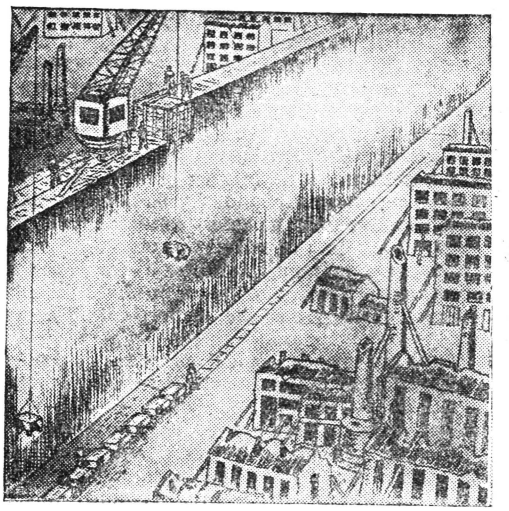
— ПОДУМАЙ, МАЛЬЧИК, Я ИСТРАТИЛА СЕМЬДЕСЯТ МАРОК НА ТВОЮ ФОРМУ НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ ФОРСИЛ, А ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТЫ ВНУШАЛ УЖАС ЕВ ЕЯМ.



Одновременно со снижением заработной платы капитализм последовательно проводит повышение таможенных тарифов, что приводит к дальнейшему ухудшению положения рабочего класса.

Таким образом у них есть

СТРОИТЕЛЬСТВО“



„...По крайней мере таможенных перегородок“.

„Современный экономический кризис, возникающий и протекающий в условиях всеобщего кризиса капитализма, является фактором дальнейшего ускорения темпов абсолютного обнищания, дальнейшего ухудшения в небывалой степени жизненного уровня пролетариата, дальнейшего расширения и углубления пропасти между богатством и нищетой, между капиталом и трудом“ („Большевик“, 1931, № 8).

На ряду с ухудшением материального положения широких масс трудящихся, кризис ведет к всеобщему падению культуры. Культурные учреждения: учебные заведения, театры, музеи— закрываются одно за другим. В Германии происходят массовые увольнения учителей—в первую очередь неблагонадежной молодежи.

Волны кризиса поднялись так высоко, что вчерашние злые шутки стали действительностью.

Публикуем рисунок „Кошмара спичечного магната“, помещенный „Симплициссимусом“ в 1931 году. Тогда еще никто не сомневался в прочности спичечного короля Крейгера и лишь поговаривали о новом изобретении „вечной списки“. Но не „вечная спичка“, а кризис капитализма сжег Крейгера. Он застрелился 12 марта 1932 года.

— Господа! Вы должны принести ваше существование в жертву государственному благу. Неграмотными легче управлять, а исключительные законы без того будут оповещены по радио“.

„... И ВЕЧНАЯ СПИЧКА ОСВЕЩАЛА ЕГО ПУТЬ“.

„Симплициссимус“ не видит и не указывает выхода из кризиса. Какой ответ на вопрос о нем дают немецкие пролетарские сатирические журналы—мы увидим из нашего следующего обзора.

Акционерное общество „БЛАУ РЕЙН“

С. МАРВИЧ

Рисунки И. ЕЦ

ОКОНЧАНИЕ *

II

Он читал газету во время конторского завтрака и целый час после того не видел перед собой ни людей ни цифр. Ужасно выросла конторская комната, и конец ее стал таким далеким, словно Кюнцель смотрел туда, перевернув бинокль. И вдруг из какой-то неизмеримой глубины сознания выплыла сплошная громада страшной мысли, и Кюнцель не решился повернуть к ней глаза. Так она стояла за его спиной, неумолимая, нависшая над его старым конторским креслом — и над его старым телом.

Люди подходили к Кюнцелю, и он их не слыхал. Потом он услышал, что его зовут к господину Конраду фон Блау. Господин Конрад фон Блау был спокоен, как всегда, но теперь Кюнцель видел то, чего никогда раньше не замечал. Всеми своими силами господин Конрад фон Блау пытался доказать окружающим, что он вполне спокоен. И голосом и глазами он требовал, чтобы окружающие, не рассуждая, верили этому. И все, кто был в кабинете—молодой Теодор, господин Рудерфиш, господин Кольгрубер — этому верили, только Кюнцель стоял какой-то безразличный и далекий.

— Господин Кюнцель, — обратился к нему Конрад фон Блау.—Вы, я полагаю, уже знаете, о чем сегодня пишет эта газета. Это предел их гнусности, и они будут примерно наказаны. Вы, господин Кюнцель, были тогда в Голландии. Вы знаете, что мы продавали трубки для сепараторов, продавали их нейтральной Голландии, и в этом была вся сделка. Мы попросим вас рассказать об этом суду. Надо как следует проучить этих мерзавцев.

Кюнцель — дома. Надо все, все вспомнить. Он вынимает газету, аккуратно раскладывает ее на столе. Надо вспомнить каждое слово, день за днем. Он берет карандаш и водит им по газете. Значит выехал он в Голландию перед новым годом. На дорогу ему тогда говорили... Гаага... Эта незаметная контора, где он вел переговоры насчет трубок для сепараторов. Был тогда Рудерфиш в Гааге или не был? Если был, то зачем же тогда понадобился он, Кюнцель?

Да... Да... Показания покойного Эриха Дицгена, дезертира германской армии... Эрих все знал. Он не договорил... Кюнцель все теперь помнит. Туман над каналом, от решетки отделяется замороженный голодом Эрих... оборванный. Он подходит к Кюнцелю. Отрывистые слова. Он, Кюнцель, неприступен. Почему он не договорил, Эрих? Почему он не прижал седого дурака к решетке и не бросил ему в лицо всю правду без остатка? Может быть тогда Кюнцель, проживший долгую жизнь олуха, поумнел бы? Он первый бросил бы камень в Конрада фон Блау, хотя бы в ответ ему полетела пуля. Эрих почему-то пожалел старого болвана. Кого ты жалел, сын грешной сестры Милли?

Есть ли предел вашей подлости, господин Конрад фон Блау, убийца миллионов? Отдать жизнь, отдать семью и узнать только, когда уже подыхаешь, что второй солдат германской армии стрелял по этой самой армии! Трубки для сепараторов! Нет, кровь разорвет жилы! Этого не бывало на свете. Ничего, ничего, Гуго, потерпи еще. Твой отец найдет такие слова, которые услышит весь мир! Эти слова, как клеймо, будут гореть на лице у фон Блау. Завтра же, завтра Кюнцель все расскажет честным людям!

III

Утро застает Кюнцеля в конторе. Но он сидит, не снимая шляпы, не разжимая губ. И не отвечает на приветствия и вопросы. И не открывает своего бюро. Впервые за сорок лет он сидит в конторе как чужой. Он не видит сдержанного изумления старых сослуживцев, он не слышит звонков. Нет, так не сидят и посетители. Кюнцель втиснул лоб в раскрытую ладонь, — небывалая в конторе поза. Он поднимается удивительно прямой и переходит в приемную.

Кюнцель открывает одну дверь и вторую. И навстречу ему поднимается господин Рудерфиш. Тут же сидит господин Кольгрубер.

— Мы знали, что вы придете, герр Кюнцель, — мягко говорит Рудерфиш. — Вы слишком впечатлительный человек, герр Кюнцель. В наше время таким людям трудно жить. Мы, конечно, знаем, что на вашу голову свалились тяжелые удары — единственный сын, жена... Но надо взять себя в руки, дорогой Кюнцель. Впереди суд. Вы приняли за правду эту немыслимую, дикую, нелепую клевету. Мы вам докажем...

Эти спокойные, уверенные слова колют Кюнцеля тысячами иголок. Он останавливает Рудерфиша одним коротким движением руки. Но Рудерфиш все же спокоен, и Кюнцелю кажется, что он глядит на него с любопытством.

— Докажете?—шопотом говорит Кюнцель.— Что вы мне докажете? Я верил вашей лжи сорок лет. Вы все всегда видели, а я вижу только теперь. Теперь вам некуда спрятаться. Где Конрад фон Блау? Где второй солдат германской армии? Где этот патриот? Болен рас-

* См. № 1—4 „Борьба миров“.

строен? Скажите, что старый бухгалтер Кюнцель будет говорить на суде все как есть. Не хватит у Конрада фон Блау миллионов на то, чтобы купить кровь сына. Кровь сына не продается. Гуго... Гуго...

Высохшие плечи старика прыгают, словно в них ткнули концом заряженного провода.

— Гуго... Двадцать лет... Не прожил и половины жизни... Нет, такие дела людям не прощаются. Я скажу, я все скажу! Так и передайте Конраду фон Блау. Да, да, второму солдату германской армии. Пусть знает.

Вместе с этими словами из старика уходит вся сила. Его глаза вдруг гаснут. Он беспомощно озирается вокруг.

— Господин Рудерфиш, я вас знаю столько лет... Скажите мне... Нет, знаю я вас или не знаю? Может быть вы торгуете детскими трупами? Я ведь не могу проверить. Нет, скажите мне, умоляю вас, объясните мне, как у Конрада фон Блау поднялась рука на это? Ответьте мне, ведь вы же не дьявол, а человек. Разве могут родиться такие люди?.. Мне пора умирать и вам недолго жить. Только правду, одну правду... Я вам верил... Правду, Рудерфиш, правду... Или вы дьявол? Как это могло случиться?..

— Вы успокоились, герр Кюнцель, и это уже к лучшему. Сядьте, вы едва стоите на ногах. Выслушайте спокойно. Мы будем, очевидно, долго говорить. Нет ничего разумного, герр Кюнцель, в том, что вы собираетесь говорить суду, и ничего героического, поверьте мне. Я — не дьявол, я — человек, такой же подчиненный суровым законам жизни человек. Я вас могу понять, но законы, которые управляют нами, я не в силах изменить. Есть два мира, господин Кюнцель. Есть мир большой и мир малый. Их нельзя соразмерить.

— Мир большой... Мир малый... — Кюнцель охватил голову обеими руками, выжимая из нее какое-то неясное воспоминание. — Мир малый... — Он тяжело задышал на Рудерфиша. — Вы мне говорили это двадцать пять лет тому назад, когда мне поручили счет взяток и подкупов... Десять марок швейцару из интендантства... Мельхиоровый кофейник делопроизводителю. Да? Особые преимущества „Блау-Рейн". Да?

— Да, — просто отозвался Рудерфиш. — Я говорил вам об этом двадцать пять лет тому назад. Я всегда говорю об этом. Мир большой — и мир малый. Несоизмеримые законы. И неустранимые. Их можно только признавать. Иначе они неумолимы. Некоторые люди рождаются слишком простодушными для того, чтобы охватить природу двух миров. Они видят перед собой только один мир. Они думают, что он слагается из своих частей так же просто, как слово „добро" из пяти букв. На практике это совсем не так. Большой мир, управляющий малым миром, очень сложен. И таким людям, как вы, господин Кюнцель,— извините меня, не очень далеким людям,— лучше не надо в этом разбираться. Это ведет только к неразрешимым конфликтам. Мы должны подчиняться большому миру, а не бегать на него в суд с жалобами. Нет такого суда, который разобрал бы вашу тяжбу с большим миром. Люди с того берега, Глокнер и его молодцы, обещают, что они такой суд создадут.

— ...Мир большой... мир малый...

Ну что ж, может это им и удастся. Все в истории бывает, но тогда будет потревожен и ваш малый мир, господин Кюнцель. Хотите курить?

Кюнцель ничего не ответил. Рудерфиш незаметно усмехнулся и закурил один толстую сигару, которые курил вот уже сколько лет.

— Дело осложняется тем,—продолжал он,— что у вас убит сын. Это страшная потеря и, надо думать, именно она гонит вас кричать, что господин Конрад фон Блау — изменник, что мы торговали родиной. Представьте себе на одну минуту, что Гуго не был убит.

— Как я могу себе это представить, господин Рудерфиш? — в каком-то тихом забытьи проговорил Кюнцель. — Как я могу себе это представить...

— ... или что у вас никогда не было сына. Ну и что же, остается ли тогда преступление на совести „Блау-Рейн"?

— Да, остается, — твердо сказал Кюнцель.

— Ах, остается? Тогда мне придется иначе объяснить вам это, дорогой Кюнцель. Войны проходят, убитых сыновей зарывают в братские могилы, оставшихся в живых распускают по домам. Войны проходят, но остаются заводы и остаются пулеметные цехи. Вот ваши представления малого мира говорят, что по ту сторону Рейна кончаются пределы Германии. А вот законы большого мира говорят, что для „Блау-Рейн" родина по ту сторону Рейна еще не кончается. Войны нет, надо восстанавливать старые связи, потому что „Блау-Рейн" не может жить в пределах одной Германии. И завод Мичерса не умещается в пределах одной Англии. И „Блау-Рейн" и Мичерс переросли границы своей страны. Для них родина — весь мир, и в этом ничего нет страшного, дорогой Кюнцель. Вы нам бросаете в лицо тяжелые слова за то, что мы продали Мичерсу запальные трубки. А потрудились ли вы сообразить, где мы доставали все то, без чего нельзя лить трубки? Знаете ли вы, что сырье для пушек надо доставать со всех концов мира? Вы думаете, чугун и уголь—и довольно? Вот, господин Кольгрубер вам скажет, что необходимо было иметь еще массу вещей.

— Да, очень многое надо для того, чтобы получить высококачественную сталь,—подтвердил Кольгрубер.

— Господин Ратенау, миллионер с философией или философ с миллионами, порою слишком пылкий человек, сказал, что он все это найдет внутри Германии. И для этого учредили специальный комитет. И покойный господин Ратенау ничего не нашел. Без никкеля нет сплава для пушек. Кто давал германской армии пушки? Мы. Где был никкель? У врага. А мы достали никкель, мы сумели провезти его в Германию, хотя мы были окружены со всех сторон. Как нам удалось—этого я не расскажу. Но однажды французский миноносец задержал шедшую в Германию из французской Каледонии трехмачтовую шхуну „Деву Марию ветров" с грузом никкеля в трюме. А после этого шхуна с этим же грузом и оттуда же аккуратно добралась до берегов Германии.

— Значит я должен понимать, что и там, у врага, были такие же изменники, как господин Конрад фон Блау? — тоном жалобного недоумения спросил Кюнцель.

— Ах, господин Кюнцель, как вы привязаны к вашему малому миру! Живите в нем, но считайтесь с тем, что существует большой мир. Иначе нельзя жить. Вы называете это изменой. И это глупо. Родина таких предприятий, как „Блау-Рейн", это — весь мир, а такой стране нельзя изменить. Детские слова. Это— не измена, а мудрый закон большого мира. Надо было сохранить старые деловые связи, потому что после войны господин Конрад фон Блау и старый Мичерс снова будут заключать сделки и давать один другому взаймы, и платить проценты по обязательствам. И когда Мичерс напомнил нам, что мы обязаны поставить ему запальные трубки, мы должны были это исполнить. И правильно сделали. Вы знаете, что на те деньги, которые мы получили от Мичерса после войны, мы сумели перестроить завод. Конрад фон Блау и старый Мичерс управляют большим миром, и мы с вами можем только им подчиняться. В этом— главная наша добродетель...

— А кайзер, первый солдат германской армии, знал об этом?—вдруг спросил Кюнцель.

— Поезжайте в Доорн и сами спросите его об этом, — отшутился Рудерфиш. — Я говорю с вами чистосердечно, Кюнцель, чтобы успокоить ваше сознание, но, я вижу, вас это не убеждает.

— Гранаты! Почему Конрад фон Блау не послал своего Теодора умирать от своей гранаты? — сбиваясь с голоса, выкрикнул Кюнцель.

— Чушь, Кюнцель,—досадливо поморщился Рудерфиш. — Не кричите ерунды!

— Постойте, Рудерфиш, я его успокою,— тяжело поднялся Кольгрубер. — Чего вы волнуетесь? Я могу вам дать точную справку, что в том секторе фронта, где убили вашего сына, гранаты с нашей запальной трубкой не были в ходу. Совершенно точную справку. Чего вы волнуетесь? — Кольгрубер с бесконечным удивлением оглядел Кюнцеля и опять опустился на диван и опять замолчал.

— Точную справку! — Кюнцель поднес сухие кулаки к груди. — А в других секторах убивали этими гранатами других Гуго. Хорош подарок с родины!

— Так вы же кричите о вашем сыне, а не о чужом! — Кольгрубер медленно поднял и медленно опустил грузные плечи.

— Я буду кричать обо всех на площади, перед судом. Буду!

Рудерфиш заговорил с крайним раздражением. Он начал заметно уставать от разговора.

— Слушайте, Кюнцель. У вас в голове чугун, и ничем его оттуда не выбить. Что вам ни говоришь, вы верещите в ответ о каких-то своих обидах, грозите отправиться на площадь. Все чушь! Мы продавали родину за золото врага? Мы торговали германской кровью? Ерунда! Мы помогали Румынии держаться. Вы многого не знаете. Мне надоело вам рассказывать, но слушайте. Может быть это вас направит на ум. Слушайте... Вы что же, думаете, что деловыми связями, которые не порвет и война, пользовались только они, победители? Что мы не требовали услуг для себя и гораздо бо́льших? Мало вам никкеля? Ладно, узнайте о других примерах. На севере Франции мы в самом начале войны заняли бассейн Бриэ, то, что нам

надо: домны и шахты. Своих домен и шахт нам уже не хватало. Туда были брошены рабочие, механики, инженеры, поехал туда даже господин Кольгрубер, оставив на время пушечные цехи,—так это важно. Мы—организация „Блау-Рейн", его опыт, его техника — сумели через два месяца поставить бассейн Бриэ на службу германской армии. Через два месяца бассейн начал давать армии сталь, железо, чугун и все, что из них делается. И он давал это до самого конца войны. Но это была еще не вся работа „Блау-Рейн". Бриэ лежал очень недалеко от линии фронта. Французской дальнобойной артиллерии это расстояние было по силам. А самолетам! Самолетами враг был сильнее нас во время войны. Его самолеты кружились даже здесь, над Рейном. Но по домнам и шахтам Бриэ не стреляли ни дальнобойные орудия ни самолеты. Мы нашли достаточно убедительные поводы для того, чтобы другие не смотрели в сторону Бриэ. Мы сумели это устроить, Кюнцель. Французская артиллерия не посягала на Бриэ, хотя это ей было очень нетрудно. В полной безопасности мы лили там сталь. Как нам это удалось — я вам рассказывать не буду. Но видите ли вы теперь, что если наши гранатные станки работали на врага, то его артиллерия не стреляла туда, где мы расположились на работу. Мы управляли артиллерией врага. Во Франции не могли понять, почему их батареи не трогают Бриэ. Там писали возмущенные статьи, брызгали слюной в парламенте, — и ничего из этого не выходило. Мы только посмеивались, читая об этом. Французские политики не могли заставить свою артиллерию разрушить Бриэ. В этом деле мы оказались сильнее их. Каково? Это ли не заслуга „Блау-Рейн"?

— А что вы дали за это французам?—Слова Кюнцеля определили его мысли.

— Ого, вы развиваетесь, Кюнцель, на старости лет. Какой удачный вопрос! Дали мы немного. Мы обязались, чтобы французские торговые суда проходили незамеченными для наших подводных лодок. Плата совсем небольшая.

— Значит и здесь платили изменой за измену...

— На этом ваше развитие и остановилось. Опять вы за свою ерунду. Надоело, Кюнцель! Толкую я с вами не потому, что мы боимся вашей истерики на суде. Плевать нам на вашу истерику. Просто хотелось бы избавить господина Конрада фон Блау от лишних хлопот. Измена! Знаете ли, что дал Бриэ Германии? Вот вам книжка французского полковника Доржана. Откройте на странице сорок восьмой отчеркнутое карандашом и прочтите.

И Кюнцель прочел механическим голосом безразличия:

„Занятие бассейна Бриэ помогло Германии продержаться против Антанты по крайней мере лишних два года. Если бы немцы не сумели использовать бассейн, война была бы окончена осенью 1916 года".

— Два года, Кюнцель! Лишних два года! Эти два года могли принести нам победу. Целых два года подарил „Блау-Рейн" Германии, подарил затем, чтобы извлечь из них случай, рождающий победу. Не наша вина, а великая наша беда, что этот решающий случай пришел не к нам, а к врагу.

Кюнцель еще раз заглянул в книгу полковника Доржана и повторил голосом американского механического человека:

„... война была бы окончена осенью 1916 г...."

и потом уже своим настоящим, упавшим голосом:

— Значит Гуго не был бы убит, если бы не эта заслуга „Блау-Рейна".

Сочинение полковника Доржана шлепнулось о навощенный пол. Голос Кюнцеля был такой пронзительный, что, казалось, он просверлит двойную дверь:

— Нет! Расчет за все подлости! За все предательство! Я найду этот суд! Я скажу все, что накопилось. Второй солдат германской армии... Измена за измену! Деловые связи...

И, уже не заботясь ни о каких приличиях, Кюнцель с воплем промчался через всю контору, оставляя по бокам бледные маски вчерашних товарищей по службе, и выбежал на улицу.

IV

Куда теперь? Кюнцель идет быстро, не разбирая дороги, и попадает на мало знакомую улицу.

А что если пойти на тот берег, к Глокнеру? Тогда, во время войны Кюнцель не понял Глокнера. Может быть он теперь его поймет. У Глокнера есть какие-то другие слова, непохожие на все те, что Кюнцель слышит вокруг. О Глокнере рассказывали страшные вещи. Но можно ли им теперь верить?

Мост накалился от солнца. Какой он длинный... Но вот начинается тот берег, идут улицы, на которых Кюнцель никогда не бывал. Белые одинаковые дома. Кюнцель зорко осматривается вокруг. Столько ему приходилось слышать про эти кварталы. Да, тяжело здесь жить человеку... Сразу же перед глазами плывет великая бедность. На куче песка играют бледные дети в рваной одежде. Вот она — тележка благотворительного общества... Перед ней — длинная очередь. Исхудавшие, рано состарившиеся женщины, заштопанные во многих местах платья, дырявые башмаки. Рыжий толстяк раздает пакетики с сухими пивными дрожжами и отмечает у себя в книжке имена тех, кто получает эти пакетики.

— Еще хотя бы сто граммов... — просит одна женщина, — пожалуйста, герр Цукке.

— Не могу, не в моей власти, — отвечает рыжий толстяк.

— Но ведь этого не хватит детям и на два дня.

— Не так часто сыпьте. Только и могу вам сказать.

Раздав пакетики, рыжий толстяк увозит тележку.

Женщина идет за ним следом и продолжает просить. Остальные сдержанно о чем-то говорят. Кюнцель подходит к ним.

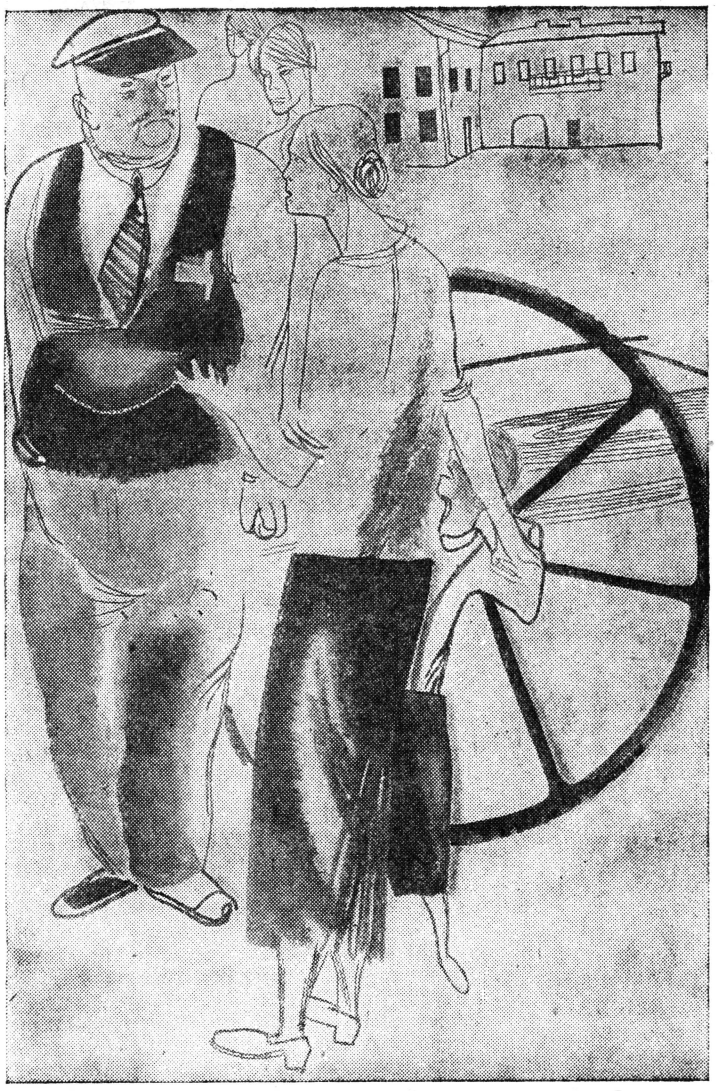
— Добрый день!

На него смотрят недоверчиво. Такого что-то здесь не видели.

— Тяжелые времена... — говорит Кюнцель и не знает, как ему продолжать.

— Смотря для кого, — говорит одна из женщин, высокая, с глубоко впавшими глазами.

— Да, это верно, не для всех... Но для многих, для очень многих.



Женщина продолжала просить.

— Это так.

Все молчат.

— Я хочу вас спросить, вы вероятно знаете, где живет Глокнер, коммунист. Мне надо с ним поговорить.

— Я вас проведу, — просто говорит женщина, которая тщетно просила рыжего толстяка отпустить еще одну порцию сухих дрожжей. — Он живет в одном с нами доме. Идемте.

И все расходятся. Кюнцель идет следом за женщиной. Вот дом, такой же, как и другие дома. Такие же исхудалые дети во дворе. Те же тощие перины перевешиваются через подоконники. Во многих окнах дешевые цветы в дешевых горшках. Женщина, ведущая Кюнцеля, открывает дверь.

— Глокнер живет здесь. Он скоро будет. Подождите.

В комнате стоит лишь одно строго-необходимое. Очень чисто и очень бедно. Над кроватью — полка с двумя-тремя десятками книг. На стенах — портреты людей, о которых говорят еще больше, чем о Глокнере. Еще несколько книг на столе. Да вот еще глобус. И вот так-то живет Глокнер, о котором писали, что он разъезжает по шикарным ресторанам. Пожалуй не стоит больше подписываться на эти газеты, может статься, что они и в других случаях лгут, в очень важных случаях.

Женщина присела на стул у окна и повторила:

— Он вероятно скоро будет. Я также к секретарю.

— К секретарю? К какому секретарю?

— К Глокнеру, конечно.

— Глокнер — секретарь? Чего?

— Ячейки нашей улицы.

— Ах, уличной ячейки...

— Ну да, вы этого не знаете? О чем же вы хотите тогда с ним говорить?

— Мне нужен просто Глокнер...

— А я к нему за советом. Все ходят к нему за советами. Он всегда знает, что сказать. Всегда потом лучше понимаешь. А так нужен теперь совет...

Послышались шаги в коридоре. Глокнер—на пороге. В синей бумажной куртке, широкий. Он постарел с тех пор. Ведь и тогда, во время войны, он был уже не молод. Война, тюрьма... Ему не меньше сорока пяти. Но еще много силы, и бодрости, и решимости в этих плечах, в этом лице. Время слишком мало сделало, чтобы нельзя было узнать Глокнера. Да, таким, почти таким приходил он тогда с письмом от Гуго и говорил эти странные слова, так непохожие на все то, что Кюнцель слышал вокруг.

Глокнер посмотрел на Кюнцеля с удивлением. Кюнцель поднялся ему навстречу.

— Мое имя Кюнцель... Это вам вероятно еще ничего не говорит. Давно это было, вы привезли с фронта поклон от сына. Вы в одной роте с ним были.

— Теперь вспоминаю, — говорит Глокнер,— Кюнцель, бухгалтер завода „Блау-Рейн"?

— Очень хочу с вами поговорить. Можно?

— Отчего же... Конечно, можно. Поговорим. Только мешать нам будут. Ну да ничего. Что ты, Анна?—обратился Глокнер к женщине.

— Не знаю, как дальше, — глубоко вздохнула женщина. — Что делать завтра?

— Ты каждый день об этом спрашиваешь, Анна.

— Не могу смотреть на детей. Я не вынесу. Я сделаю, как та семья. Сегодня похоронили Фишлей, завтра — меня с детьми.

— Анна, не говори пустяков. Не одной тебе тяжело. Помни это.

— Я помню, всегда это помню. Но мне не становится от этого легче.

— Именно от этого должно быть легче. Голодает весь квартал, в каждом доме голодают. Но надо устоять. Фишель спасовал и потащил всю семью за собой. Это подлая слабость. Нужны еще люди и силы для того, чтобы добиться другого.

— Все, что у меня есть, Глокнер, это две марки и пакетик сухих пивных дрожжей.

— Растяни их, как только можешь на большее время. И не клянчи у рыжего толстяка. Они за каждый грамм метят попасть на небо. Через три дня придут деньги из Межрабпома. И не отворачивайся от детей, а говори с ними, смотри им в глаза, объясняй им, что как есть. Поймут. Смотри, чтобы они у тебя бодрее были. Слова такие найди. Ты — мать, ты отвечаешь.

Когда женщина ушла, Глокнер вопросительно поглядел на Кюнцеля.

— Много с тех пор воды утекло, герр Глокнер, — сказал для начала Кюнцель.

— И много крови, герр Кюнцель.

— Но я не пришел вспоминать, герр Глокнер. Та женщина просила у вас совета. И я пришел за этим, хотя и не живу на вашей улице. Когда они писали про вас, что вы стали коммунистом для того, чтобы кутить на московские деньги, я не поверил. Я вспомнил вас, — вы не такой. Когда вы писали о том, что Конрад фон Блау продавал во время войны оружие нашим врагам, я также сначала не поверил. Но потом я вспомнил, все проверил в своей памяти, все даты, все случаи, и я увидел, что это страшная правда...

Парень лет двадцати не постучав вбежал в комнату.

— Слушай, товарищ Глокнер... Там выселяют Элизу Брошек. Пришли какие-то парни. Выносят на улицу ее вещи. Дети плачут. Что делать?

— Беги к Генриху, захвати его с собой. Генрих — наш новый агитпроп. Я понимаю, в чем дело. Они привели безработных с биржи, соблазнив их часовой работой. Воздействуйте с Генрихом на безработных. Скажите, что нельзя ради кружки пива помогать выселению рабочей семьи. Убеждайте, они бросят эту подлую работу. И никто за нее не возьмется. Ну, марш, скорее.

Парень был уже за дверью. Донеслись его бегущие шаги по лестнице.

— В чем же страшная правда, герр Кюнцель?

Пока Кюнцель говорил отдельные короткие фразы, они получались у него гладко, и он был совершенно спокоен. Но едва Кюнцель начинал рассказывать, собирать фразы для того, чтобы сколотить из них свою большую правду, как он погружался в ужасное томление. Слова казались ему неубедительными. Он обрубал фразы на середине, искал других. Его жег нестерпимый внутренний жар.

— Значит вас, герр Кюнцель, угнетает мысль, как это в Германии творились такие дела?

— Да, герр Глокнер, это не дает мне покоя.

— Скажите, откуда вы родом, герр Кюнцель?

— Я из Тюрингии...

— На вашей родине был лес?

— Был, но я не понимаю...

— Одну минуту, я сейчас доскажу. Как по-вашему, для тюрингского зайца большая разница в том, что его рвет на части не чешский скажем, забежавший с чужой стороны волк, а свой родной, тюрингский? Большая принципиальная разница, да? От волка из родных мест нельзя было ожидать этой пакости, да?

— Вы шутите, герр Глокнер. Я не за тем к вам пришел. Мне не так хорошо, чтобы со мной шутить. У этой женщины, что была у вас, и то спокойнее на сердце, чем у меня. Мы — разные люди, герр Глокнер, вы лучше все видите, чем я, но зачем так шутить?

— Не сердитесь, герр Кюнцель. Я нисколько не шучу. Вас ужасает то, что германских солдат убивали пули и гранаты, которые носили на себе марку германских товаров?

— Да, герр Глокнер, это ужасно.

— А чего же тут ужасного? Почему германских солдат можно было убивать одними французскими пулями, одними английскими, русскими, американскими? Почему немца нельзя убить немецкой пулей? Почему нельзя было по хорошей цене продавать запальные трубки англичанам?

Глокнер всегда говорит такие неожиданные слова... От них захватывает дух и глаза не знают, куда глядеть.

— Герр Глокнер, вы все лучше знаете, и я боюсь сказать глупость. Одно—наше внутреннее дело, наше германское. А когда Конрад фон Блау торгует с врагом во время войны—это же предательство, это чудовищное преступление против родины, против нас всех— против меня, против Гуго, против вас.

— Против меня? Нет.

— Как же нет, герр Глокнер? Ведь вы же немец?

— Я коммунист, герр Кюнцель, и кроме того немец. Если вы считаете, что я все знаю лучше вас, то я постараюсь вам объяснить, в чем тут дело, хотя это и нелегко будет. Чувствуется, что вы очень привыкли к своим постоянным мыслям, герр Кюнцель.

— Да, герр Глокнер, да, — кротко откликнулся Кюнцель.

— Ну, вот они вам и мешают. Вы считали, что у вас есть родина; мы говорили, что у нас нет родины, и за это нас гнали прикладами в тюрьму. У Конрада фон Блау также не было родины, но об этом он никому не говорил. У Конрада фон Блау не могло быть родины, потому что он имел дела со всем миром. И война не могла его закупорить в пределах отчизны.

— Да, да, — торопливо прошептал Кюнцель. — Рудерфиш мне рассказывал, чтобы успокоить меня, что они получали никкель из французской Каледонии... Шхуна „Дева Мария ветров"... Потом бассейн Бриэ.

— Шхуна „Дева Мария ветров"! Бассейн Бриэ! Услуга за услугу! Ну, он мог рассказать вам гораздо больше, если хотел вас этим

успокоить. Рассказал ли он вам например, как все эти фон Блау, Мичерсы, немцы, англичане, французы, каждый уважаемый патриот в своей стране, второй солдат своей армии, собирались за год до войны на конференцию в Брюсселе?

— Нет, герр Глокнер, об этом мне Рудерфиш ничего не рассказал.

— На эту конференцию не был допущен ни один журналист, ни один посторонний. Они поговорили два дня и вернулись в свои страны. О чем они говорили, как вы думаете, герр Кюнцель? Может быть о том, что каждый останется верным сыном своей родины и не будет торговать ее кровью? Но для этого не надо съезжаться на международную конференцию. Протоколов этих заседаний никто из посторонних не видал. Протоколы эти если и сохранились, то лежат где-нибудь в бетонной башне. Протоколов нет, но остались факты, по которым можно догадаться, что было написано в этих протоколах. Факты в бетонную башню не спрячешь. А рассказывал вам Рудерфиш о том, что через год после начала войны собрались на конференцию владельцы международного динамитного треста? Мы с вашим сыном воевали, вы писали вашему сыну ободряющие письма, проклятия вашего племянника-дезертира, а они съезжались где-нибудь в нейтральной Швейцарии и договаривались о своих делах. Война и долг патриота им не мешали. Да, в Швейцарии, в отеле, в глубоких креслах, преспокойно дымя сигарой. В этой же Швейцарии, в это же время, только, разумеется, не в дорогих отелях, русские большевики собрали две конференции против войны. Эти конференции считались изменой отечеству; газеты, которые вы выписываете, писали, что участников этих конференций надо повесить. А те другие международные конференции, в дорогих отелях, проходили незаметно, и люди, которые дымили сигарами, до сих пор считаются патриотами и собираются защищать цивилизацию от большевиков. Правда, какой-то следователь попытался отдать их под суд, но только испортил на этом карьеру и потому присмирел.

Снова быстрые шаги по лестнице. Идут несколько человек. Впереди — тот парень, который забегал сюда полчаса назад. С ним еще трое.

— Все улажено, Глокнер, — говорит парень.—Хорошие ребята оказались. И не подумали спорить...

— Сами знаем, как сидеть без работы, — перебивает другой парень. — Будь они прокляты, эти гроши, если за них надо вышвыривать на улицу семью рабочего. Мы не знали, на какое дело нас нанимали. Пусть других ищут.

— Они побежали за другими.

— А мы тоже сейчас пойдем на биржу и всех предупредим. Нет ли газеты, товарищ? Купить-то не на что.

— Генрих, — обращается Глокнер к одному из парней, — дай товарищам газеты.

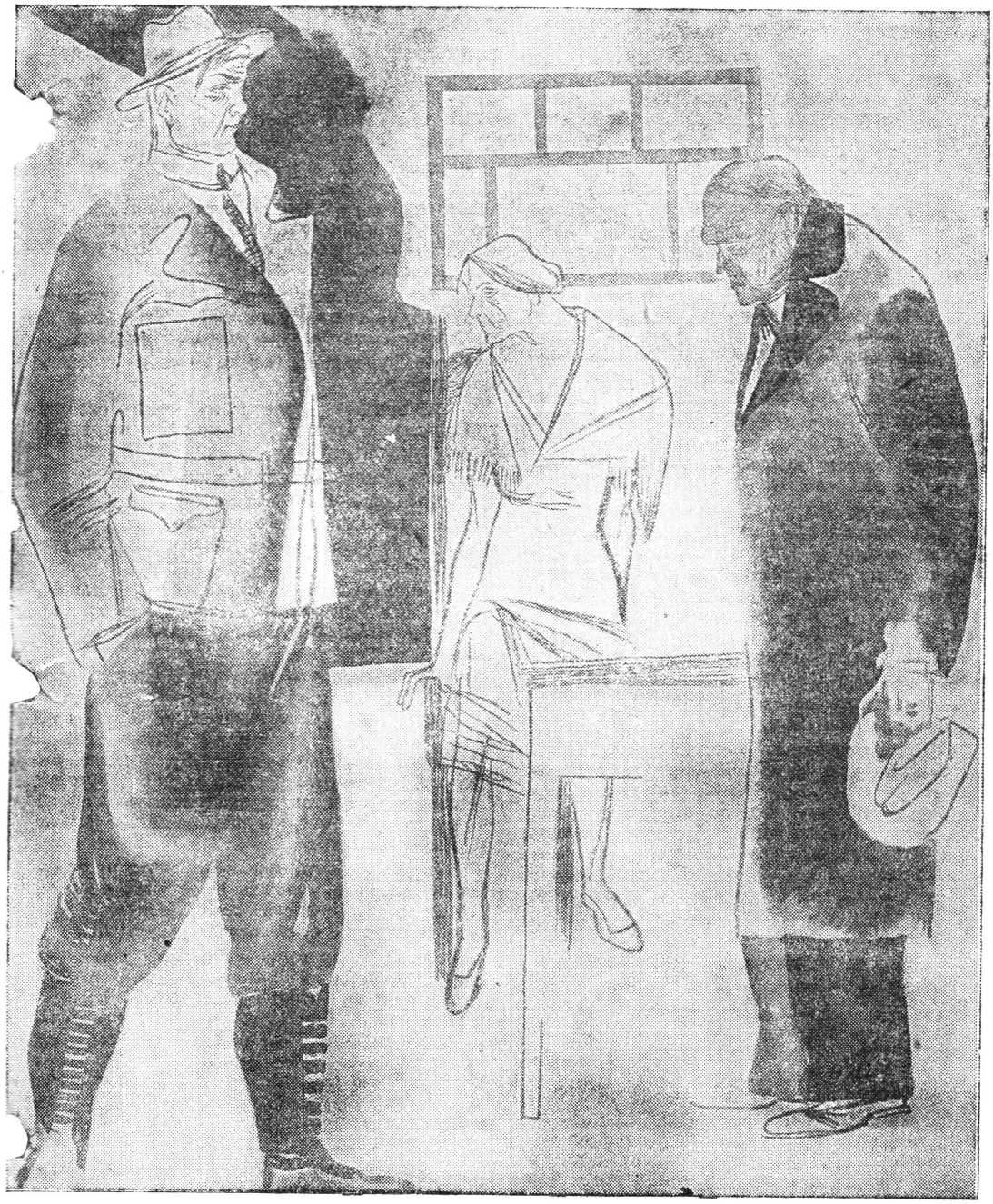
— Пойдемте, ребята.

— Так о чем мы говорили? — вспоминает Глокнер. — Да, вы знаете, что такое цианамид? А что такое Боло? Ну, Рудерфиш не так-то много вам рассказал. Он знает куда больше. Цианамид — это металл, электрометалл. Боло— это человек, миллионер, француз. Цианамид применяется для того, чтобы получить взрывчатое вещество огромной силы. Накануне войны Германия оказалась без цианамида В Германии им еще не успели овладеть. Секретом цианамида владела французская компания. Секрета она не продавала, а готовый цианамид—сделайте одолжение. Германия осталась без цианамида, но у наших заводчиков-патриотов остались крепкие знакомства по ту сторону траншей. Есть на юге Франции департамент Савойя. Чудесная местность. Отроги Альп, мирные домики в горах, много солнца, виноградники в долинах, и ручьи и горные реки без конца. Они бороздят весь край. В этих бурливых реках форель, которая скачет по камням, и кроме того удивительно дешевый белый уголь. И именно потому, что белый уголь удивительно дешев, в этом прекрасном краю населению пришлось отказаться от ловли форели. Альпийцы начали прудить реки, и у плотин появились электростанции. Там же появились электрохимические заводы. Заводы выпускали электросплавы, чудесные по легкости и сопротивляемости, в том числе и несравненный карбид кальция. Заводами владело акционерное общество, называлось оно „Обществом карбидов". Второй солдат германской армии, господин Конрад фон Блау был одним из самых ценных клиентов этого общества. Конрад фон Блау покупал ферросилиций. С обществом „Блау-Рейн" был заключен договор. Германский патриот Конрад фон Блау не желал сесть на мель в первый же месяц войны. Поэтому он потребовал у „Общества карбидов", чтобы оно построило депо у самой границы Швейцарии. Французские патриоты из „Общества карбидов" не желали терять такого богатого клиента и потому свято выполнили требования Конрада фон Блау. Завод „Блау-Рейн" не испытывал во время войны недостатка в ферросилиции. Из пограничного депо ферросилиций перевозился в Швейцарию, а из Швейцарии—к нам. Тем же путем шел и цианамид. Дело было организовано великолепно. Плавно и быстро ферросилиций и цианамид перемещались из Франции в Германию — и никаких неприятностей. Неприятность собственно однажды случилась, но из нее ничего не выросло. В дело вмешались французские судебные власти. Об этом говорили, представьте себе, в парламенте. И никого из „Общества карбидов" не повесили, и никого даже не наказали ну хотя бы домашним арестом...

Кюнцель сам пошел к столу за водой. От волнения у него нестерпимо пересохло во рту.

— А Боло?—спросил он, проливая воду из графина мимо стакана.

— Боло? Боло действовал не тут, не на берегах альпийских рек, а в самом Париже. Боло работал не над электросплавами, не над снарядами, а над общественной совестью. Это —очень деликатный товар. Все газеты Парижа кричали о том, что Германию надо разгромить, разрушить, разнести. Боло покупал те газеты, которые кричали об этом громче, чем другие, и приказывал им вопить еще оглушительнее: „Больше пушек! Больше снарядов!", вопить каждый день, самым крупным шрифтом. Боло действо-



— В чем же правда, герр Глокнер?

вал как патриот, но потом оказалось, что платил он теми миллионами, которые он получал из Берлина.

— Значит все они были вместе...

— Да. Когда один другому нужен, Конрад фон Блау и Мичерс всегда будут вместе, хотя они оба приносили присягу в верности своей родине...

Опять шаги по лестнице. Входит загорелая девушка. Входит торопливо, не садится. Только рукой снимает испарину со лба.

— Глокнер, комсомольцы, двенадцать человек, завтра едут в деревню. Все уже приготовлено. Маршрут разработан.

— Да, я знаю. Возьми эти брошюры в углу. Завтра я приду к отправке. Там и договоримся об остальном. Вот тебе веревка, перевяжи пачку.

В один момент каблуки девушки отстучали свою дробь по ступеням лестницы.

— Да, мир большой и мир малый...

— О чем вы говорите, герр Кюнцель?

— Нет, я вспоминаю, что мне сказал Рудерфиш, двадцать пять лет тому назад сказал и теперь повторил. Он говорит, что есть два мира — мир большой и мир малый, и у них разные законы. Конрад фон Блау живет в большом мире, а я — в малом. И Рудерфиш сказал, что спокойнее всего мне будет без рассуждений подчиняться большому миру.

— Ваш Рудерфиш, видимо, неглупый человек, но здесь он здорово ошибается. Сейчас не два, а три мира. Два больших и один малый. Один большой мир — это мир Конрада фон Блау. Другой большой мир — это наш мир пролетариев, революции. Ваш малый мир находится посредине. Наш большой мир неизбежно раздавит большой мир Конрада фон Блау. Но ваш малый мир будет неизбежно зажат между жерновами и размолот в мелкий порошек, если вы вздумаете устраиваться посередине. На середине удержаться никому не удастся, герр Кюнцель.

— Что же мне делать, герр Глокнер? Что вы мне на это скажете?

— Я скажу, что перед вами — трудный шаг. Вы сами сказали, что очень свыклись с вашими старыми мыслями, а их надо выбросить в мусорную яму. Переделайте ваши мозги, герр Кюнцель. Выкиньте оттуда все то, что незаметно, день за днем вы подбирали от хозяйской мудрости. Слушайте, что говорим мы, и поймите это поглубже. Это не легко, герр Кюнцель, очень нелегко. Может и не удастся.

— Но я хочу рассчитаться с большим миром Конрада фон Блау.

— Тогда переделайте мозги. Можете быть уверенным — наш большой мир рассчитается с Конрадом фон Блау. Вы видели этих безработных парней, эту нищету, этих оборванных женщин, этих хилых детей? Голодает половина Германии. Они мерзнут полгода и голодают круглый год. И это не убивает их. Почему? Потому что они — наследники мира, потому что они овладеют им. Если бы не это, они бы только покорно умирали.

— Я пойду, обязательно пойду в суд, герр Глокнер. Пусть они мне грозят, но я все скажу.

— Вы нам поможете этим, герр Кюнцель. И себе также.

V

Как же это случилось? Он шел обратно по мосту и дышал полной грудью. Потом он сел в трамвай, доехал до центра города и прямо смотрел в глаза всем прохожим. Он нес в себе великую правду, и никто не смел ее отнять у него. Он никогда не был так бодр и силен.

На старой кривой улице он остановился, чтобы завязать распустившийся шнурок ботинка. И когда он опустил глаза к ботинку, он увидел у подъезда дома присевшего на корточках босого старика. Они почему-то долго смотрели друг на друга, и потом босой старик заговорил:

— Сорок лет... Сорок лет я чистил городские люки. И теперь я не нужен. Эти люки наградили меня здоровенным ревматизмом. Вот подставляю солнцу ноги, только часто гоняют. Я теперь не нужен. А мне нужна еще койка, еда. Койка в ночлежке стоит тридцать пфеннигов, ужин — еще тридцать. Одни люки... я не жаловался... А теперь и люков нет для меня.

Кюнцель вынул марку, еще одну марку, всего пять марок, отдал их старику, который не догадался даже закрыть ладонь, и, не завязав шнурка ботинка, пошел дальше.

Кюнцель открыл двойные двери. В комнате, как и три часа тому назад, сидели Рудерфиш, Кольгрубер и не было Конрада фон Блау. Рудерфиш нисколько не удивился, увидев Кюнцеля. Он даже указал ему на кресло, но Кюнцель остался стоять.

— Что скажете теперь, герр Кюнцель? — спокойно спросил Рудерфиш. — Мы надеемся, что-нибудь более благоразумное... Не правда ли?

Голос Рудерфиша как-то странно успокаивал Кюнцеля.

— Я пришел продолжить ваш рассказ о взаимных услугах. Вы знаете, что такое ферросилиций?

Кольгрубер поднял удивленные глаза.

— Ну, еще бы, — сказал он, — без ферросилиция нет высококачественной орудийной стали. Ферросилиций сообщает стали следующие свойства...

— Оставьте, герр Кольгрубер, — холодно прервал его Рудерфиш, — разве вы не видите, что герр Кюнцель изволит потешаться над нами?

— Да, вы конечно знаете, что такое ферросилиций. Вы большой знаток своего дела, герр Кольгрубер. Я даже удивляюсь, почему вы не едете на службу к старому Мичерсу. Ведь у Мичерса еще льют пушки. Ну, а откуда вы получали ферросилиций в 1915 году? В 1916 году? Где вы его брали, когда наши сыновья шагали по трупам к Вердену? А цианамид? Вы знаете что такое цианамид?

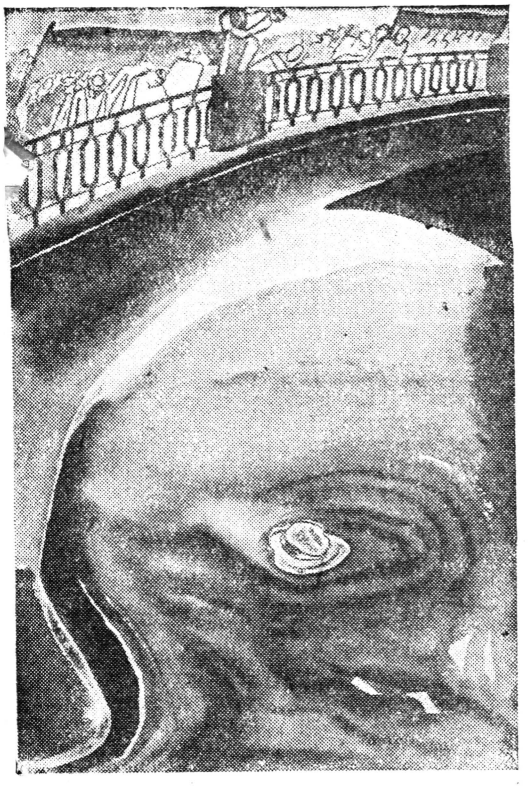
Кольгрубер опять невольно сделал утвердительное движение головой. И от этого уверенного движения Кюнцеля всего затрясло в неистовой лихорадке рвущейся наружу злобы.

— Знаете? Но тогда вы должны знать, что такое „Общество карбидов". А какие письма посылали вы ему через Швейцарию? Департамент Савойя... Мирные долины... Горные реки, счастливый край. Счастливый! Еще бы, ведь у него было сколько угодно ферросилиция. Покажите мне на карте, сейчас же покажите, где был этот пограничный склад, который построили для вас французские патриоты? Слышите, я требую...

— С ума спятил! — выдохнул из себя Кольгрубер.

— О, нет, — отозвался Рудерфиш. — Тут другое. Герр Кюнцель обличает большой мир. Вы многое успели узнать, Кюнцель, но далеко не все. Вы так и отправитесь на тот свет, не узнав всего. Рассказывать вам я ничего больше не буду. Это действует на вас совсем не так, как надо. Вы объявили войну большому миру? Ладно, воюйте, только, когда вам нужна будет перевязка, обращайтесь в другое место.

— Я доскажу за вас, Рудерфиш. В какой книге записано, сколько миллионов дал Конрад фон Блау французскому патриоту Боло? Кто вел эту книгу? Я записывал только мелкие взятки. Вы сами вели?



...И это было все, что осталось от Кюнцеля ..

— Нет, он все-таки с ума сошел... Слушайте, я же вам говорил и повторяю...

Но тут открылась незаметная дверь из задней комнаты, и из нее вышел Конрад фон Блау. Он был весь желтый от бешенства. Желваки прыгали на обеих щеках — от челюстей к вискам. Его душил тугой воротник, старомодный черный галстух и орден. Кюнцель вдруг попятился на шаг и с тоской почувствовал, что слабеет, ужасно слабеет, что вся сила уходит из него.

— Оставьте, Кольгрубер, — хрипло сказал Конрад фон Блау, — эту дрянь не так нужно убеждать, — и он сделал то, чего не позволил себе Рудерфиш: он схватил Кюнцеля за сухое стариковское горло и уже не заговорил, а захрипел: — Успел побывать у Глокнера, подлая свинья? Я — предатель, да? Я предал Германию? Это ваши сынки предали ее! Это они бросили оружие и открыли дорогу врагу! Ваше отродье не захотело потерпеть, и поэтому нас победили. Молчи, ничего не смей говорить. Твой Глокнер поможет Германии выйти на дорогу? Я помогу, мы поможем, слышишь ты, старый дурак?

Отчаянными усилиями Кюнцель сумел протолкать свои последние слова сквозь тугие пальцы Конрада фон Блау.

— Ты ей поможешь? Ты только торговал ею, старый убийца...

И в ту же минуту Конрад фон Блау с силой отбросил его в кресло.

— Вот что, Кюнцель... — Голос Конрада фон Блау стал почти официален, почти так он говорил на годовых собраниях акционеров. — Слушайте, старый остолоп! Вам тут пытались объяснить. Я даже позволил открыть вам некоторые тайны, но, безмозглый болван, вы ничего не хотите слышать. Теперь я вам скажу коротко в последний раз. Знаете вы, как живет теперь в Германии старик, у которого нет ни работы, ни пенсии? Старика выгоняют из его угла, он подыхает, как собака. Германия и молодых не может прокормить, а о стариках никто не думает. Вы давно уже не нужны нам, но мы вам платили за старые услуги. А если вы завтра явитесь в суд с теми словами, которыми вы отравляли здесь воздух, мы вас выкинем, как старую, износившуюся тряпку. Запомните, дуралей, ни работы, ни пенсии. На все четыре стороны. Подыхайте под забором. А затем — честь имею кланяться.

И Конрад фон Блау вышвырнул Кюнцеля за дверь.

VI

Нет, нет, у него еще была решимость, еще не вся сила была в нем убита. Он даже почувствовал большое облегчение, когда его пропустили в этот узкий и длинный, похожий на гроб, зал суда. Он сел на скамейку и ждал. Вот назовут его имя, и он пойдет, да, пойдет вперед к этому столу и зазвучат его слова. Он исполнит свой долг перед Гуго, перед обманутым юношеством, исполнит свое обещание, которое он дал на том берегу.

Но сзади на скамейке поместился человек с багровой шеей. Зачем он пришел сюда? Томительное беспокойство сжимает сердце Кюнцеля. Что нужно этому Тромпереру? Этому хозяйскому агенту? Что он скажет?

Тромперер крепко хватает Кюнцеля за руку, отгибает его назад и говорит в ухо:

— Герр Кюнцель, вам еще раз напоминают. Не делайте этой глупости. Помните: ни работы, ни пенсии.

Он больше ничего не сказал. Но тотчас же перед Кюнцелем всплыла эта кривая старая улица и крыльцо, на котором сидел старик — и сам старик. И в ту же минуту Кюнцель услышал отчаянный вопль бездомного котенка, который бежал за ним через весь город. Старик сорок лет чистил люки и вот теперь голоден и сидит на пустыре в мусорной яме. И его гоняют с места на место, когда он греет на солнце свои старые кости. Кюнцель сорок лет стерег люки акционерного общества „Блау-Рейн", и теперь его выгонят, только он откроет рот. Да, выгонят, и он погибнет, как тот старик. Конрад фон Блау это сделает. У Кюнцеля не останется ни тепла, ни хлеба. И... Кюнцель не может оставаться без своего угла. Значит продать кровь сына? За тепло, за еду? Значит окончить свои дни подлым трусом?

Тяжелое дыхание сидевшего сзади Тромперера обжигало, душило его. Уже не осталось ни одной прочной мысли. Перед Кюнцелем неслись, обгоняя друг друга, обрывки каких-то дум, какие-то слова. Да, да, Гуго был убит, конечно, пулей, а не гранатой, пуля прошла в том месте, где две родинки... У высоты „319" легло несколько полков... Почему же Эрих Дицге не сказал всего тогда в Гааге? Теперь Кюнцелю было бы легче, или Кюнцеля со-

всем бы не было? Кюнцель смолчит, он сохранит свой угол... и тепло и кофе. Но как он будет глядеть в глаза мертвому Гуго? И что он скажет Глокнеру, если встретится с ним? Если бы не пробрался сюда этот Тромперер...

Судья читает что-то тихим голосом. Это то, что писал перед смертью Эрих, сын бедной, грешной Милли. Да, Гаага, зимний день... Какие-то люди стоят перед судьей, и кто-то называет имя Кюнцеля. Страх не оставляет, хватающий за горло, непобедимый, он срывает Кюнцеля с места и гонит за дверь, гонит по длинным коридорам, далеко от этой площади, от этой многоголосой толпы. Кюнцель не видит ни улиц ни города. Он бежит и бежит, пока сами собой не останавливаются разбитые ноги.

VII

Надо итти куда-нибудь. И он идет той же дорогой, что шел вчера. Он поднимается на мост, и навстречу ему несутся песни и полощатся красные знамена. Мост запружен плотными рядами. Кюнцель останавливается и пропускает эти ряды мимо себя. Половина Германии голодает, сказал Глокнер... Они идут оттуда,—из голодающих домов. И поют. Поют о том, что возьмут штурмом и землю и небо. Это тот второй большой мир, о котором ни слова не сказал Рудерфиш. Он еще на том берегу, в пронизанных холодом домах, в рваной одежде. Его дети ложатся спать голодными, их матери стареют, не прожив и половины жизни. Но у него больше сил, чем у этого берега, где живет Конрад фон Блау, где светятся богатыми окнами магазины и редко болеют дети.

Почему они не повернут назад? Ведь уже проскакал вперед конный полицейский. И вместе с ним проскачет взвод. Литые дубинки покроют плечи кровяными пятнами. Злой оскал лошадей и железные шлемы поверх морд врежутся в ряды. Потом раздастся свисток и за свистком загремят выстрелы. Об этом знают, и не останавливается поступь того берега, и не становится она неуверенней. Мост содрогается под шагами того берега. Вот так и пойдут они дальше через все мосты, ко всем крепостям. Нет, он не может итти с ними. Он уцепился зубами за свой угол. Конрад фон Блау сорок лет покупал его и знает все его жилы, все его мысли. Конрад фон Блау пнул его ногой, и он с головой забился в свою вонючую темную конуру и сквозь щелку смотрит, как идет мимо него второй большой мир. Эти исхудалые руки крепко возьмутся за будущее и выпотрошат весь без остатка большой мир Конрада фон Блау. Вчера Кюнцель мог быть с ними. Сегодня он стоит у решетки моста и пропускает мимо себя эту лавину, которая идет туда на площадь, к тому дому, откуда час тому назад его выгнал жалкий страх. Они прорвут все цепи, и голоса новых тысяч пронесутся через сводчатые окна к столу тщедушного судьи. И Кюнцелю нет места в этой лавине. Оно продано час тому назад за позволение умереть в тепле и сытости.

Кюнцель окончился весь без остатка. Это был уже не Кюнцель, а сгусток слизи, без чести, без жизни. Кому он теперь нужен, он, червяк, который не сумел переползти через подлый свой страх, пыльная тряпка большого мира Конрада фон Блау? Нет в мире такой щели, которую можно было заткнуть этой тряпкой.

— Человек под мостом! — раздался крик, заглушивший плеск воды.

Головы, много голов склонилось над перилами. Эти слова летели по рядам и долетели до другого берега. Безработные парни отвязали лодку, запустили мотор — и лодка рванулась туда, откуда послышался всплеск воды. С моста кричали, указывали руками на то место. Лодка вошла под мост. Один из парней бросился в воду и вынырнул, но с пустыми руками и отрицательным кивком головы. Лодка описывала круги у того места, на которое ей указывали сверху. Погрузились в воду багры с крюками и кошками и ничего не вынесли на поверхность.

— Ничего не поделаешь,—сказал Генрих,— его затянуло. Бери к берегу. Наши уходят вперед, а там должно быть стоит уже цепь. Надо догонять.

А когда лодка поворачивала к берегу, из-под моста выплыла и ткнулась о борт лодки старая летняя шляпа с выцветшей от времени лентой. И это было все, что осталось от Кюнцеля, от его неумелых дней, от его великой преданности акционерному обществу „Блау-Рейн".

Издательство ЦК ВКП(б) „Правда". Сектор „Комсомольская правда".
Отв. редактор **А. Поневежский.**
Зав. редакцией **И. Бражнин.** Руководитель оформлен. и технич. частью журнала **М. Лоскутов.**

Ленгорлит № 48079. Ст.-ф. 72×110. Тираж 50.000. Печ. л. — 6. Заказ № 7009.
Сдан в производство 3/VII. Подписан к печати 17/VII. Количество знаков в листе 97696.

Тип. им. Володарского. Ленинград, Фонтанка, 57.

Изд-во ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ Сектор „Комсом. Правда“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1932 год

НА ЖУРНАЛ

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“

Выходит ДВА раза в мес.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — руководящий политико-теоретический журнал ЦК ВЛКСМ. Рассчитан на руководящий актив союза.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — последовательно проводит генеральную линию партии, непримиримо борясь со всякими уклонами от ленинской линии и примиренчеством к ним в теории и практике, беспощадно разоблачая троцкистскую контрабанду и всякую фальсификацию и гнилой либерализм к ней.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — теоретически обобщает и разрабатывает злободневные проблемы комсомольского движения, связанные с вступлением СССР в период социализма и последний этап нэпа.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает вопросы союзного руководства, выдвижения и воспитания актива, марксистско-ленинского воспитания и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“—освещает узловые вопросы борьбы за металл, уголь, химию, социалистическую реконструкцию транспорта, электрификацию и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — дает развернутый руководящий материал по реализации решений XVII партконференции.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает вопросы теории советского хозяйства, планирования, организации труда, практики хозрасчета, социалистической рационализации и дает теоретическое освещение опыта социалистического переустройства деревни, практику колхозного и совхозного строительства.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — разрабатывает основные пути и проблемы техники и технической политики.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“—знакомит читателя с ленинским этапом в философии, экономике, литературе и т. д.

„ЮНЫЙ КОММУНИСТ“ — освещает международное рабочее движение, задачи Коминтерна и КИМ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 мес.—50 к., на 3 мес.—1 р. 50 к., на 6 мес.—3 р., на 12 мес.—6 р.

Цена отдельного номера—25 коп.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ во всех почтовых отделениях, у письмоносцев, ячейковых работников по печати.

ИЗД-СТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“ СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Каждый комсомолец,
каждый молодой рабочий

ДОЛЖЕН ЧИТАТЬ СВОЙ ЖУРНАЛ

СМЕНА

ОРГАН ЦК и МК ВЛКСМ

—— Выходит два раза в месяц ——

СМЕНА — массовый иллюстрированный, литературно-художественный, общественно-политический и бытовой журн. раб. молодежи. Выходит 2 раза в месяц в увелич. объеме.

СМЕНА — показывает в строительстве социализма лучших ударников-комсомольцев и передовую рабочую молодежь.

СМЕНА — единственный в СССР журнал рабочей молодежи, специально посвященный вопросам социалистической реконструкции быта.

СМЕНА — освещает и ставит актуальные проблемы культуры и быта, связанные с ходом социалистической стройки. Из номера в номер дает в журнале постоянную бытовую консультацию. Ведет борьбу с классово-враждебными нам пережитками и течениями и вылазками на идеологическом, культурном и бытовом фронтах.

СМЕНА — печатает лучшие рассказы, стихи и очерки пролетарских писателей и ударников, призванных в литературу. Откликается на злободневные вопросы литературной политики. Борется за проведение правильной партийной линии в художественной литературе.

СМЕНА — отображает классовую борьбу за быт рабочей молодежи в капиталистических странах и колониях.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 м. — 50 к., на 3 м. — 1 р. 50 к., на 6 м. — 3 р., на 12 м. — 6 р.

Цена отдельного номера — 25 коп.

Подписка принимается во всех почтовых отделениях, у письмоносцев и в ячейках ВЛКСМ у уполномоченных по печати.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВКП(б) „ПРАВДА“

СЕКТОР „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

БОРЬБА МИРОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Два мира. Две силы. Отмирающий капитализм и социалистическая система. Капиталистические страны охвачены жесточайшим кризисом. Закрываются фабрики и заводы, лопаются банки, идут с молотка разорившиеся крестьянские хозяйства. Рабочие среди изобилия, созданного их руками, умирают с голода. Социалистическая система не знает кризисов. Каждый день вступают в строй все новые и новые заводы, растут новые города. Главная и основная задача журнала **„БОРЬБА МИРОВ“** — показать во весь рост эти две системы, показать революционную борьбу рабочих в капиталистических странах и участие в этой борьбе зарубежного комсомола.

Латвийские палачи убили комсомольца Гедрисе. Умирая, Гедрис сказал: „Убьют нас, но разве можно убить комсомол! За нами идут другие. С каждым днем нас все больше и больше. Наши силы растут“.

Зарубежный комсомол, несмотря на жесточайший террор, ведет героическую революционную борьбу. Наша задача — показать зарубежный комсомол, его рост, его работу, его борьбу, его победы.

Журнал **„БОРЬБА МИРОВ“** должен показать две техники, рассказать о нашем враге, о вооружении буржуазии, о борьбе на научном фронте.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ЖУРНАЛ „БОРЬБА МИРОВ“

На 12 мес. — 5 руб. 40 коп. || На 3 мес. — 1 руб. 35 коп.

На 6 мес. — 2 руб. 70 коп. || Цена отдельн. номера — 50 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: всеми организаторами подписки на заводах и фабриках, во всех почтовых отделениях, письмоносцами, ячейковыми работниками по комсомольской печати и уполномоченными „Комсомольской правды“.